



ДЖОН ГОЛСУОРСИ

**ТЕМНЫЙ ЦВЕТок
СИЛЬНЕЕ
СМЕРТИ**



Annotation

В романах «Темный цветок» и «Сильнее смерти» классик английской литературы, лауреат Нобелевской премии касается интимных сторон человеческих взаимоотношений, воспекает трагизм и величие любви.

- [Джон Голсуорси](#)

- [ЧАСТЬ I](#)

- [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [XIII](#)
 - [XIV](#)
 - [XV](#)
 - [XVI](#)
 - [XVII](#)

- [ЧАСТЬ II](#)

- [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)

- [IX](#)
- [X](#)
- [XI](#)
- [XII](#)
- [XIII](#)
- [XIV](#)
- [XV](#)
- [XVI](#)
- [XVII](#)
- [XVIII](#)
- [XIX](#)
- [XX](#)
- [XXI](#)
- [ЧАСТЬ III](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [XIII](#)
 - [XIV](#)
 - [XV](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)

- [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
-

Джон Голсуорси

Темный цветок

*«Ты возьми цветок с моей груди,
Вьнь второй цветок из черных кос моих,
Теперь прощай — над нами ночь ясна,
И звездам радостно смотреть, как ты
уходишь».*

«Песни с берегов Дымбовицы».

ЧАСТЬ I
ВЕСНА

Он шел по Холиуэлл-стрит ранним июньским вечером, сняв студенческую шапочку с темной густоволосой головы и приспустив с плеч короткую мантию. Юноша невысокого роста и такого сложения, словно в нем смешались две совершенно разные породы: одна — коренастая, другая — изящная, нервная. Лицо его также представляло собой редкостное сочетание разнородных качеств, ибо черты его были твердые, а выражение мягкое, чуть капризное. Его глаза — темно-серые, щедро освещенные изнутри и осененные очень черными ресницами, — умели глядеть куда-то вдаль, за пределы зримого, и оттого вид у него подчас бывал слегка отсутствующий; зато улыбка была неожиданно быстрая, обнажавшая вдруг белые, как у негра, зубы и зажигавшая лицо удивительной живостью. Встречные посматривали на него, ибо в 1880 году еще не принято было студентам ходить без шапочек. Особенно привлекал он внимание женщин; они видели, что он их вовсе не замечает, а просто идет, глядя вдаль, занятый какими-то своими мыслями.

Знал ли он сам, о чем думает? Мог ли он ответить на это определенно в ту пору своей жизни, когда повсюду, и в особенности за пределами сегодняшнего кругозора, было столько интересного и удивительного — столько всего он должен повидать и сделать, когда расстанется с Оксфордом, где к нему «ужасно добры» и вообще все, конечно, «милые люди», но не слишком интересные.

Он шел к своему профессору, чтобы прочесть ему реферат об Оливере Кромвеле; но, задержавшись под старой стеной, некогда замыкавшей в себе весь город, он вынул что-то из кармана. Это было живое существо, маленькая черепаха. Он с полным самозабвением смотрел, как она осторожно, вопросительно поводит плоской головкой, и не переставал ощупывать ее своими короткими, тупыми пальцами, словно хотел яснее представить себе, как она устроена. Ну и твердая же у нее спина! Не удивительно, что старику Эсхилу стало слегка не по себе, когда вот такая свалилась ему на голову!^[1] У древних она служила основанием, на котором покоился мир — мир в виде пагоды, состоящей из людей, животных и деревьев, вроде той, что

вырезана на дверцах китайского шкафчика в гостиной у его опекуна. Китайцы здорово делали животных и деревья, точно они верили, что у всех предметов есть душа и они существуют вовсе не для того, чтобы люди их ели, запрягали или строили из них себе дома. Эх, если б только в художественной школе ему позволили лепить «по-своему», а не заставляли без конца копировать и копировать! Честное слово, они словно опасаются, как бы человек не придумал что-нибудь свое.

Он поднес черепашку к жилету и придерживал, а она ползла вверх, но потом он вдруг заметил, что она жует угол его реферата, и пришлось положить ее обратно в карман. Что бы сказал его профессор, если б узнал, кто сидит у него в кармане? Чуть склонил бы голову набок и произнес: «Есть многое на свете, друг мой Леннан, что и не снилось мудрости моей».^[2] Это верно, немало существует такого, о чем старому Стормеру и не снилось; он, кажется, страшно боится всего мало-мальски необычного и всегда подсмеивается над тобой из страха, как бы ты не стал смеяться над ним. В Оксфорде много таких. И это очень глупо. Ведь если бояться людского смеха, то ничего не добьешься! Вот миссис Стормер, она не такая; она совершает поступки... просто потому, что ей так хочется. Но ведь она не англичанка, она австрийка, и потом она настолько моложе старого Стормера.

И, оказавшись у дверей профессорского дома, он позвонил...

II

Когда Анна Стормер вошла в кабинет, ее муж стоял у окна, чуть склонив набок голову, — высокий, длинноногий, в мягком шерстяном костюме с отложным воротничком (что было редкостью в те дни) и синем шелковом галстуке, ею связанном, который он носил пропущенным через кольцо. Он что-то напевал, постукивая в такт по стеклу холеными ногтями. Хоть он и славился трудолюбием, она ни разу не застала его за работой в этом доме, который был выбран им за то, что отстоял более чем на милю от колледжа, где обитали «наши милые юные шуты», как он именовал своих учеников.

Он не обернулся — разумеется, в его привычки входило тратить свое внимание лишь на самое существенное, — но она знала, что он слышал, как она вошла. Она приблизилась к стоявшему у окна креслу и села. Тогда он обернулся и произнес: «О!»

То было почти выражение восторга, для него отнюдь не обычное, ибо он некогда ничем не восхищался, если не считать избранных мест из произведений древних авторов. Но она знала, что сейчас она особенно хороша: солнечный луч освещает ее прекрасную фигуру, играет на блестящих каштановых волосах и искрится в ее льдисто-зеленых глубоко посаженных глазах, прикрытых черными ресницами. Для нее очень много значило, что она по-прежнему так красива. Сознать, что твой вид оскорбляет изысканный вкус супруга, — это было бы уж слишком. И без того скулы у нее, на его взгляд, чересчур выступали, символизируя чуждые ему черты ее характера, — ту безоглядность, страстность, то отсутствие какой-то английской ровности, что так его всегда раздражали.

— Харролд, — она так и не отучилась от раскатистого «р», — я хочу в этом году поехать в горы.

Горы! Она не видела их после того сезона в Сан-Мартино-ди-Кастроцца двенадцать лет назад, который кончился тогда их женитьбой.

— Ностальгия?

— Я не знаю, что это значит, — я соскучилась по родным местам. Мы поедем?

— Отчего же, если тебе хочется. Только что до меня, то, пожалуйста, без восхождений на Чимоне-делла-Пала.

Она поняла, что он хотел сказать: без романтики. А как великолепен он был в тот далекий день, когда они подымались на эту вершину! Она почти боготворила его. Как она была слепа! Как заблуждалась! Неужели это тот же человек стоит сейчас перед нею — с ясными, неверящими глазами, уже с сединой в волосах? Да, с романтикой покончено! Она сидела молча и глядела в окно на улицу — на ту старинную улочку, куда ей глядеть теперь дни и ночи. Кто-то прошел за окном, поднялся на крыльцо и позвонил. Она тихо сказала:

— Марк Леннан пришел.

Она почувствовала, как взгляд мужа мгновение задержался на ней, — это он отвернулся от окна и пробормотал: «Ах, шут-ангелочек!» Замерев, она ждала, чтобы открылась дверь. Вот он. Милая темная голова и эта мягкая, застенчивая серьезность. И реферат в руках.

— Ну, Леннан, как поживает старик Оливер? Гений лицемерия, а? Придвигайте стул; сейчас мы с ним живо покончим!

Она неподвижно сидела у окна и разглядывала пару за столом — юноша читал своим удивительным, бархатистым басом, а ее муж сидел, откинувшись, составив концами пальцы обеих рук, слегка наклонив набок голову и улыбаясь своей слабой, сардонической улыбкой, которая никогда не передавалась глазам. Да он дремлет, он заснул! А мальчик, не замечая, продолжает читать. Он дошел до конца и только тут поднял голову. Какие у него глаза! Другой бы посмеялся, но он только смутился. Она услышала, как он тихо произнес:

— Ради Бога, простите, сэр.

— А, Леннан, каюсь, я попался! По правде сказать, этот семестр меня совсем доконал. Мы собираемся на лето в горы. Бывали вы в горах? Что? Никогда?! Вам надо поехать с нами. Что ты на это скажешь, Анна? Как по-твоему, разве не должен этот молодой человек поехать с нами?

Она встала и пристально смотрела на них. Уж не ослышалась ли она?

Потом ответила очень серьезно:

— Да, по-моему, ему надо поехать.

— И прекрасно; вот пусть он и лазит на Чимоне-делла-Пала.

III

Когда юноша простился и ушел, она задержалась у порога в полосе солнечного света, падавшей через приоткрытую дверь, и стояла, прижав ладони к горящим щекам. Потом захлопнула дверь и припала лбом к окну, невидящими глазами глядя на улицу. Сердце у нее учащенно билось; она еще и еще раз переживала то, что сейчас произошло. Все это значило гораздо больше, чем казалось со стороны. Правда, тоска по родине бывала у нее и раньше, особенно весной, но в этот раз совсем иное чувство заставило ее сказать мужу: «Я хочу поехать в горы!»

Двенадцать лет она тосковала по горам, но не просилась в горы; в этом году она попросилась в горы, но она уже по ним не тосковала. Наоборот, она пришла умолять мужа о поездке, потому что вдруг с недоумением осознала, что ей не хочется уезжать из Англии, и поняла причину своего нежелания. Но почему же тогда, решившись бежать от мыслей об этом юноше, она ответила: «Да, по-моему, ему надо поехать»? Нужды нет, ведь она всю жизнь разрывалась между разумом и порывом — странная, напряженная, мучительная двойственная жизнь! Сколько времени прошло с того дня, как он впервые появился у них в доме, молчаливый и застенчивый, с этой внезапной улыбкой, когда он весь словно озаряется внутренним светом? В тот день она сказала мужу после его ухода: «Да он просто ангел!» Еще и года нет. Ведь это было в октябре, в самом начале осеннего семестра. Он так отличался от всех студентов — он, конечно, был не гений с растрепанными волосами, в мешковатой одежде и острый на язык, — нет, но просто в нем есть что-то... что-то особенное; просто потому, что он — это он; потому что ей страстно хочется сжать в ладонях его голову и поцеловать. Она так ясно помнит тот день, когда это желание пришло к ней впервые. Она угощала его чаем, это было в самом начале весеннего семестра. Он сидел, гладил ее кошку, которая всегда сама лезла к нему на колени, и рассказывал ей, что хочет стать скульптором, а его опекун против, так что приходится все отложить до совершеннолетия. На столе стояла лампа под розовым абажуром; он пришел к ним после гонок на реке — а день был очень холодный, и его

обычно бледное лицо пылало. И вдруг он улыбнулся и сказал: «Очень неприятно ждать, правда?» Вот тогда-то она чуть было не протянула к нему руки и не прижалась губами к его лбу. Она тогда думала, что поцелуй, о котором она мечтает, — материнский, что ей больше всего хотелось бы быть его матерью. Она и в самом деле годилась ему в матери, ведь могла же она выйти замуж в шестнадцать лет. Но теперь она уже давно поняла, что ей хочется поцеловать его не в лоб, а в губы. Да, он вошел в ее жизнь, он точно огонь очага в холодном, непроветренном доме; трудно даже представить себе, как она могла все эти годы жить без него. Она так скучала без него все полтора месяца пасхальных каникул и так радовалась его трем письмецам, полуробким, полудоверчивым; покрывала их поцелуями и носила за корсажем! И в ответ писала ему длинные, добропорядочные послания, по языку которых все еще было заметно, что она иностранка. Она ничем не выдавала ему свои чувства; даже мысль, что он мог бы догадаться, страшила ее. Начался летний семестр, и думы о нем заполнили всю ее жизнь. Быть может, если бы не умер десять лет назад ее новорожденный ребенок, если бы его жестокая гибель — после мук, которые она приняла, — не убила бы в ней навсегда желание иметь детей, если бы она не жила все эти годы с сознанием, что ей уже нечего ждать тепла, что любовь для нее позади, если бы ее могла увлечь и захватить жизнь в этом красивейшем старинном городе, — тогда, быть может, у нее нашлись бы силы, чтобы подавить пробуждающееся чувство. Но ей нечем было защититься. Жизнь в ней была ключом, и она чувствовала, как все это пропадает даром, ни за что. Подчас ее совсем захлестывала страстная потребность жить — дать выход своим жизненным силам. Сколько одиноких прогулок совершила она за эти годы, стремясь раствориться в природе, — торопливо шла, почти бежала через безлюдные рощи и поля, ища спасения от мыслей о напрасно загубленной жизни, пытаясь вернуть себе настроения своей юности, когда перед нею открывался весь мир. Для чего так великолепна ее фигура, так блестят ее темные волосы, а глаза лучатся светом! Она перепробовала много разных занятий. Благотворительность, музыку, любительский театр, охоту; бралась, потом бросала; потом с увлечением бралась снова. Раньше это помогало. Но в этом году не помогло... И в одно воскресное утро, когда она возвращалась с исповеди, так и не дойдя до исповедальни,

она отважилась взглянуть истине в глаза. То, что с ней происходит, дурно. Она должна убить в себе это чувство, должна бежать от этого юноши, к которому ее так влечет. Надо действовать немедленно, иначе ее захватит и понесет. И тут же возникла мысль: ну так что ж? Жизнь дана, чтобы жить, а не тупо дремать посреди этого культурного заповедника, где старость у людей в крови! Жизнь дана для любви, для счастья! А ей через месяц будет уже тридцать шесть лет. Ей казалось, что это ужасно много — тридцать шесть! Скоро она уже состарится, совсем состарится, так и не изведав страсти. Поклонение, возведшее в героиню немолодого (он был на двенадцать лет старше ее) англичанина с благородным профилем, который возглавил тогда восхождение на Чимоне-делла-Пала, не было страстью. Оно, быть может, перешло бы в страсть, пожелай он этого. Но он весь — пристойность, лед, книги. Есть ли у него сердце, кровь ли течет в его жилах? Знакома ли радость жизни этому чересчур красивому городку и людям, в нем живущим? Этому городку, где даже вдохновение пристойно и бескрыло, где все имеет вид незыблемый и умудренный, как эти церкви и монастыри? Но все-таки... питать подобное чувство к юноше, почти мальчику, который ей чуть не в сыновья годится! Тут есть что-то... бесстыдное. Эта мысль преследовала ее, в темноте заливала краской ей щеки, когда она лежала ночами без сна. И тогда она принималась страстно молиться, — ибо она была набожна, — чтобы ей было дано остаться чистой, чтобы ей ниспослано было святое материнское чувство, чтобы ее преисполнила простая готовность ради этого юноши, ради его блага, пойти на любые трудности и жертвы. После этих долгих молитв на душе становилось спокойнее, клонило в сон, словно она приняла снотворное. И так на несколько часов. А потом все начиналось сначала. Но она никогда не думала о том, что и он может полюбить ее; это было бы... противоестественно. Как может он ее полюбить? На это она не надеялась. После того воскресенья, когда она так и не зашла в исповедальню, она все пыталась придумать, как положить этому конец, как избавиться от страсти, которую у нее не было сил подавить. Вот тогда-то ей и пришла в голову мысль — уехать в горы, снова очутиться там, где ее муж впервые вошел в ее жизнь; быть может, там ее чувство угаснет. Если же нет, она попросит, чтобы муж оставил ее там, у ее родных, вдали от опасности. И вот теперь этот глупец — этот слепой, высокомерный глупец, с вечной своей сардонической

усмешкой и неизменной снисходительностью — обратил ее план против нее самой. Ну что же, пусть пеняет на себя; она сделала, что могла. Она возьмет свою долю счастья, и будь что будет, пусть даже ей придется навсегда остаться там и потом никогда больше не видеть этого юноши.

Стоя в полутемной гостиной, где слабый запах древесной гнили просачивался в воздух всякий раз, стоило лишь закрыть окна и двери, она вся трепетала от тайной радости. Очутиться с ним в родных горах, показывать ему все эти удивительные утесы, сверкающие или бурые, землистые, подняться с ним вместе на их вершину и увидеть все царства земные у ног своих, бродить с ним по альпийским сосновым лесам, в аромате всех деревьев и цветов, в жарких лучах родного солнца! Первое июля — а сегодня только десятое июня! Как ей дожить до этого дня? Но теперь они поедут не в Сан-Мартино, а в Кортину, например, куда-нибудь в незнакомое место, свободное от воспоминаний.

Она отошла от окна и стала перебирать цветы в вазе на столике, потому что услышала, как напевает ее муж, — этот звук нередко служил провозвестником его появления, словно предупреждая мир, дабы тот поспешил принять к его приходу благопристойный вид. Счастливая, она сейчас глядела на мужа дружелюбно и признательно. Хотел он того или нет, но он подарил ей радость! Муж спускался по лестнице через две ступеньки с тем «неакадемическим» видом, который был ей так знаком; сняв с вешалки шляпу, он обернулся к Анне.

— Славный юноша, этот Леннан. Будем надеяться, он на нас там не нагонит скуку.

В его голосе слышался какой-то призыв раскаяния, словно он просил простить его за необдуманное приглашение. И ее вдруг одолел смех. Чтобы скрыть это, она подбежала к нему, пригнула его к себе за лацканы сюртука и поцеловала в кончик носа. И рассмеялась. А он стоял и глядел на нее, склонив слегка набок голову и чуть-чуть приподняв брови.

IV

Когда раздался легкий стук в дверь, Марк хоть и встал уже с постели, но еще не кончил одеваться — он то и дело застывал, сонно глядя в окно на горы, которые нежились в раннем свете утра, подобные огромным животными. Та, на которую им предстояло взобраться, словно чуть-чуть приподняла от лап голову, — она казалась сейчас такой далекой! Приотворив дверь, он шепнул в щелку:

— А что, уже пора?

— Пять часов. Вы разве не готовы?

Как это грубо — заставлять ее дожидаться. Он торопливо спустился в пустую столовую, куда заспанная горничная уже несла им кофе. Анна сидела там одна. На ней была синяя блуза с открытым воротом, зеленая юбка и серо-зеленая бархатная шапочка с тетеревиным пером. Почему это люди не могут всегда так красиво одеваться и выглядеть так замечательно?! Он сказал:

— Как вы сегодня хороши, миссис Стормер!

Она так долго не отвечала, что он уже начал опасаться, не прозвучало ли это грубо. Но ведь у нее и в самом деле был сейчас такой здоровый, оживленный, счастливый вид.

Путь вел под гору, через лиственничную рощу, к реке, а оттуда по мосту и вверх по склону через луга, где косили сено. Как мог старик Стормер проспать такое утро! Крестьянские девушки в синих полотняных юбках уже сгребали траву, которую успели накосить мужчины. Одна, работавшая на краю луга, выпрямилась, когда они проходили, и застенчиво им поклонилась. У нее было лицо мадонны — очень спокойное, серьезное, доброе, с тонкими, изогнутыми бровями; глядеть на такое лицо — просто наслаждение. Юноша оглянулся на нее. Здесь все для него, никогда не выезжавшего за пределы Англии, было странным и восхитительным. Маленькие шале с широкими деревянными галереями, выкрашенными темно-коричневой краской, под далеко выступающими краями кровель. Яркие платья крестьянских женщин; и приветливые низкорослые коровы, все желтоватые, как густые сливки, но с серыми короткими мордами. Даже воздух здесь был другой, в нем играло бодрящее,

животворное тепло, оно словно бы покрывало легкой коркой недвижимый массив мороза; и этот особый аромат предгорий — запах сосновой смолы, запах лиственничных дров и сладкий запах луговых цветов и трав. Но непривычнее всего было его собственное ощущение — гордость, сознание своей значительности, какой-то странный восторг оттого, что он с нею наедине, оттого, что он избран в спутники ею, которая так прекрасна.

Они обогнали всех других пешеходов, шагавших той же дорогой, — это чаще всего были толстяки немцы, у которых за спиной болтались стянутые ремнями куртки, а в руках были тяжелые альпенштоки и зеленые сумки; они двигались ровным, упорным шагом, пыхтя вслед Анне и ее юному спутнику: «Aber eilen ist nichts!»^[3]

Но этим двоим все казалось недостаточно быстро, сердца их летели еще быстрее. Это было не настоящее восхождение, а только тренировочная прогулка на вершину Нуволау; к полудню они были уже наверху и скоро пустились в обратный путь, терзаемые муками голода. Добравшись до Приюта Пяти Башен, они поспешили в его маленькую столовую и там застали компанию англичан, которые ели омлеты и, наградив Анну едва узнающими взглядами, продолжали разговаривать какими-то вымученными голосами, лениво нажимая на отдельные звуки и глотая другие с аристократической небрежностью. Почти у всех болтались через плечо бинокли, а на столах и на стульях лежали их фотоаппараты. Чертами лица они не особенно походили друг на друга, но губы у всех у них кривились в одинаковой улыбке, и брови они все поднимали на один манер, так что все казались вариациями единого типа. И зубы почти у всех у них немного выдавались вперед, точно поджатые углы губ выталкивали зубы наружу. Ели они с таким видом, будто вообще-то они не склонны полагаться на чувства низшего порядка и предпочли бы вовсе не ощущать ни вкусов, ни запахов. «Из нашей гостиницы», — шепнула Анна; и, заказав шницели и красного вина, они уселись за стол. Дама, явно возглавлявшая эту компанию англичан, осведомилась, как поживает мистер Стормер — он не болен, она надеется? Нет? Просто ленится? Как странно. Ведь он, насколько ей известно, большой любитель лазать по горам. Юноше почудилось, что эта дама их почему-то осуждает. Разговор в их компании шел между нею и

господином, у которого был мятый воротничок и намотанный вокруг шляпы шарф со спущенными концами, а также еще одним господином, коренастым, седобородым, в черной просторной куртке с поясом. Стоило вмешаться кому-нибудь из молодежи, и его замечание встречалось круто вздернутыми бровями, опущенными веками, словно хотели сказать: «Ну что ж, пожалуй, для такого возраста недурно».

— Всего больше мне наблюдать способность человеческой природы кристаллизоваться, — так заявила дама-командирша, и юнцы задвигали головами вверх и вниз, выражая согласие.

«Как они похожи на цесарок, — подумал Марк, — головки маленькие, плечики покатые, одежда серенькая, в крапинку».

— Ах, сударыня (это вступил господин с помятым воротничком), вы, романисты, все время нападаете на драгоценное умение следовать традициям. А беда нашего времени — это нынешний дух сомнения. Никогда еще не была так велика у нас тяга к бунту, особенно среди молодежи. Когда индивид начинает рассуждать — это уже тяжелый симптом национального вырождения. Но данная тема едва ли подходит...

— Поверьте, что эта тема, безусловно, представляет животрепещущий интерес для нашей молодежи. — И снова юнцы подняли головы и повели ими легонько из стороны в сторону.

— О нет, боюсь, что мы позволяем занимательности заслонять от нас вопрос о целесообразности обсуждения некоторых предметов. Мы даем свободу подобным философствованиям, и они оплетают и опутывают нашу веру и парализуют ее.

Тут вдруг один из юнцов воскликнул: «Madre!..»^[4] — и умолк.

— Да простится мне такая вольность, — снова откликнулась дама, — но я скажу, что рассуждения опасны только тогда, когда ими занимаются грубые умы. Если культура нам ничего не дает, тогда откажемся от культуры; но если культура, как полагаю я, насущно необходима человечеству, тогда нам остается только принять и те опасности, которые она с собою несет.

И снова ее молодые собеседники задвигали головами, и младший из двух слушавших ее юнцов произнес: «Madre...»

— Опасности? Разве культурным людям грозят опасности?

Кто это спросил? Все брови высоко поднялись, углы губ у всех опустились, и стало тихо. Марк Леннан с изумлением смотрел на свою

спутницу. Каким странным тоном задала она этот вопрос! И в глазах ее точно горело пламя. Наконец маленький господин с седой бородкой ответил ей своим тихим голосом, прозвучавшим на этот раз холодно и ядовито:

— Все мы, сударыня, живые люди.

Анна рассмеялась, и у Марка громко застучало сердце: смех ее звучал так, словно она хотела сказать: это вы-то живые люди? И, встав, он вышел вслед за ней из столовой. А там уже снова завязалась беседа — о погоде.

Они отошли уже довольно далеко от Приюта, когда Анна заговорила:

— Вам не понравилось, что я рассмеялась, да?

— По-моему, вы их обидели.

— А я и хотела. Терпеть не могу ваших английских надутых блюстителей нравов! Право же, не сердитесь на меня. Ведь они и в самом деле надутые ханжи — все до единого, верно?

И она такими глазами заглянула ему в лицо, что кровь прихлынула к его щекам и голова закружилась, — его точно магнитом тянуло к ней.

— У них в жилах водица, а не кровь! Какими голосами они разговаривают, какими презрительными взглядами окидывают тебя с головы до ног! О, я их знаю! И эта женщина с ее либерализмом, она не лучше, чем остальные. Ненавижу я их всех!

Ради нее он тоже готов был их возненавидеть; но они казались ему всего лишь забавными.

— Разве они живые люди? Они не умеют чувствовать! Вы еще их когда-нибудь узнаете. Тогда они не покажутся вам забавными.

И она продолжала негромким, задумчивым голосом:

— И зачем только они приезжают сюда? Здесь все такое молодое, теплое, живое. Лелеяли бы свою культуру там, где не знают, что значит страдать, испытывать голод, где ни у кого не бьется сердце. Вот послушайте!

Охваченный беспредельным смятением, он сам не сумел бы сказать, где так стучит кровь: в ее сердце или у него в ладони. Рад ли он был, когда она отпустила его руку?

— Пусть! Сегодняшний день им все равно не испортить. Давайте отдохнем.

На опушке лиственничной рощи, где они присели отдохнуть, росли розовые горные гвоздики с бахромчатыми лепестками и чудесным ароматом. Анна вскоре встала и принялась рвать их. А он остался сидеть на месте, и какие-то странные чувства теснили ему грудь. Синева небес, перистая хвоя лиственниц, очертания гор — все было для него сейчас не таким, как утром.

Она возвратилась с большим букетом розовых гвоздик и разжала пальцы прямо над ним, засыпав его цветами. Они падали ему на лицо, на шею. Никогда еще не вдыхал он такого запаха, не испытывал такого странного чувства. Они цеплялись за его волосы, сыпались на лоб, слепили глаза, один цветок повис у него на губах; а он глядел на нее сквозь бахрому их розовых лепестков. И, верно, было что-то в его взгляде, какое-то отражение теснившего ему грудь чувства, ибо улыбка сбежала с ее лица; она отошла и стала спиной к нему. Смущенный, растерянный, он подбирал с земли рассыпанные цветы, и только собрав все до единого, поднялся и робко отнес их к ней туда, где она стояла, задумчиво глядя в полумрак рощи.

Что знал он о женщинах, чтобы понять? В школьные годы он не был знаком ни с одной; в Оксфорде — только с этой. Дома, куда он приезжал на каникулы, тоже не было женщин, если не считать его сестры Сесили. Две страсти их опекуна — рыбная ловля и местные древности — не располагали к светской жизни; так что покой старинного девонширского дома, с его панелями из мореного дуба и обнесенным каменной оградой запущенным парком над рекою, годами не смущало присутствие представительниц слабого пола, помимо Сесили и ее гувернантки мисс Тринг. И, кроме того, Марк был застенчив. Нет, в его прошлом, не насчитывающем еще и девятнадцати лет, не было ничего, что помогло бы ему сейчас. Он не принадлежал к тем молодым людям, которые только и думают, что о легких победах. Ему такие мысли казались грубыми, низкими, отвратительными. Немало понадобилось бы ясных признаков, прежде чем он догадался бы, что женщина в него влюблена, в особенности женщина, которую он высоко чтит и которую считает такой прекрасной. Ибо перед красотой он преклонялся, самого же себя видел грубым, нескладным. То была священная сторона жизни, и приближаться к ней надлежало с трепетом. Чем больше возрастало его восхищение, тем трепетнее и смиреннее делался он сам. И потому после той смятенной минуты, когда она засыпала его благоухающими цветами, он испытывал неловкость; и, шагая рядом с нею, был еще молчаливее, чем всегда, и смущен до глубины души.

Если в его сердце, которое было невинно, царило смущение, то что же должно было происходить в ее сердце, издавна лелеявшем тайную мечту о пробуждении в нем этого смятенного чувства? Она тоже молчала.

Когда они проходили мимо открытых дверей церкви на окраине деревни, она сказала:

— Я найду туда, вы не ждите меня.

Внутри было пусто, полутемно. Там не видно было никого, только одна крестьянка, закутавшаяся в черную шаль, стояла на коленях неподвижная, точно изваяние. Ему очень хотелось остаться. Как

прекрасна эта коленопреклоненная фигура, как играет улыбка солнечного света, просочившегося в полумрак! Он помедлил у входа и видел, как Анна тоже опустилась на колени в безмолвии храма. Значит, она молилась? И снова у него перехватило дыхание, как тогда, когда она рвала гвоздики. Как она сейчас прекрасна! Ему стало стыдно, что он испытывает такие чувства в то время, как она молится, и он решительно зашагал прочь. Но острое, сладкое стеснение в груди не покидало его. Он закрыл глаза, чтобы избавиться от ее образа, но от этого ее образ стал только еще ярче, а чувства его еще сильнее. Он поднялся к гостинице, там на террасе стоял его профессор. И странно, вид его смутил юношу не больше, чем если бы то был какой-нибудь портье. Стормера все это словно не касалось; он и сам, кажется, рад был остаться в стороне. И потом, он ведь так стар, — ему чуть не пятьдесят лет!

Этот столь старый человек стоял в своей излюбленной позе — руки в карманах просторной куртки, одно плечо чуть вздернуто, голова откинута немного набок; того и гляди, задаст какой-нибудь каверзный вопрос. Улыбнувшись подошедшему Леннану — но только не глазами, — Стормер сказал:

— Ну, молодой человек, куда же вы девали мою жену?

— Оставил ее в церкви, сэр.

— Вот как! Это на нее похоже. Она, верно, совсем загнала вас? Ах, нет? Тогда пройдемся немного и побеседуем.

Он прохаживался и разговаривал с ее мужем, словно так и надо, даже угрызений совести у него не возникало — будто все это не имело никакого отношения к его чувствам, которые были ему так внове. Мелькнуло только недоумение: как она могла выйти за такого — и тут же ушло. Мысль эта была далекой и академичной, вроде того недоумения, которое у него в раннем детстве вызывало пристрастие его сестренки к игре в куклы. Если он ощущал сейчас еще что-то, то лишь настойчивое желание уйти и спуститься к церкви. Ему было холодно и одиноко после целого дня, проведенного с нею, словно он оставил себя там, наверху, где они сегодня столько ходили вместе и сидели рядом на солнечном склоне. О чем это толкует старик Стормер? Ах, о различиях между греческим и римским понятием чести! Всегда в прошлом — ему, верно, настоящее представляется дурным тоном. Он сказал:

— А мы встретили там, на горе, компанию «надутых англичан».

— Ах, вот как! Какого же именно толка?

— Там были, сэр, и прогрессивно мыслящие и отсталые; но, по моему, сэр, это все едино.

— Понимаю. Так вы говорите: «надутые англичане»?

— Да, сэр, они из нашей гостиницы. Это миссис Стормер их так назвала. Они просто упивались своей важностью.

— Несомненно.

Что-то странное прозвучало в голосе, каким было сказано это обычное слово. Юноша удивленно поглядел на своего собеседника — ему впервые подумалось, что и тот, кто стоит перед ним, — живой человек. Но тут же краска залила его щеки: сюда идет она! Подойдет ли она к ним? Как она хороша, загорелая, шагающая своей легкой походкой, будто только что вышла в путь! Но она скрылась в дверях гостиницы, даже не взглянув в их сторону. Неужели он обидел ее, оскорбил? И, сославшись на какое-то вымышленное дело, он попрощался со Стормером и ушел к себе в комнату.

Он остановился у окна, из которого утром любовался горами, и смотрел теперь, как солнце уходит за высокий горизонт. Что это произошло с ним? Все стало другим, все стало совсем не таким, как с утра. Мир словно переродился. И снова грудь его стеснило неведомое чувство, словно на лицо, на плечи, на руки ему опять посыпались цветы, щекоча бахромчатыми краями лепестков и разрывая сердце сладким ароматом. И снова он словно слышал, как она говорит: «Вот послушайте!», — и чувствовал под пальцами удары ее сердца.

VI

Оставшись наедине с коленопреклоненной женщиной в черной шали, Анна не молилась. Стоя на коленях, она горько роптала в душе своей. Зачем судьба послала ей это чувство, зачем вдруг озарилась ее жизнь, если Бог запрещает ей быть счастливой? Несколько горных гвоздик попали ей за пояс, и аромат их перебивал запахи ладана и старины. Нет, когда есть цветы, с их колдовством, с их воспоминаниями, молитва не придет. Да и хочет ли она молиться? Стремится ли она к тому состоянию отрешенности, в каком пребывает сейчас эта закутанная черной шалью женщина, которая за все время не двинула ни мизинцем, обретя столь полное отдохновение для своей смиренной души, что жизнь словно бы вовсе покинула ее, оставив наслаждаться небытием? Какова же эта жизнь, когда существование твое настолько тягостно и настолько изо дня в день и час за часом ничем не скрашено, что просто так постоять на коленях в тоскливом онемении чувств — и то уже счастье, единственное, доступное тебе? Это красиво, конечно, но грустно. И Анну охватило желание встать и подойти к этой женщине, чтобы сказать ей: «Открой мне свои печали, мы ведь с тобою обе женщины». Быть может, она похоронила сына или потеряла любовь, а может, не любовь, а так, мечту. Любовь... Отчего всякий дух тоскует по ней, отчего всякое тело, исполненное силы и радости жизни, чахнет и вянет, лишённое любви? И неужели в этом огромном мире не довольно любви, чтобы и ей, Анне, взять свою толику? Она не причинит ему вреда, ведь она заметит, когда перестанет быть нужна ему, и тогда у нее, уж конечно, достанет гордости и такта не удерживать его подле себя. Потому что она, естественно, вскоре надоеет ему. Разве может она, в ее возрасте, надеяться, что удержит его дольше, чем на несколько лет — или даже месяцев? Да и достанется ли он ей вообще? Юность так непреклонна, так жестока! Но тут ей вспомнились его глаза — глядящие на нее снизу, смятенные, страстные, — когда она осыпала его цветами. Воспоминание наполнило ей душу восторгом. Один ее взгляд тогда, одно прикосновение — и он бы сжал ее в объятиях. Она знала это и все же боялась поверить, это значило для нее так много. В тот миг

мысль о муках, которые ждут ее, как бы все ни обернулось, показалась ей слишком жестокой и несправедливой. Она поднялась с колен. На пол от дверей все еще падал один косо́й солнечный луч; он дрожал на плитах примерно в ярде от молящейся крестьянки. Анна следила за ним. Успеет ли он коснуться коленапреклоненной женщины или же солнце раньше канет за горы, и луч погаснет? А та застыла, укутанная черной шалью, ничего не ведая, не подозревая. Луч все придвигался. «Если луч коснется ее, значит, он меня полюбит, хоть на час, да полюбит; а если погаснет...» Луч приближался. Эта меркнущая дорожка света, эти танцующие в ней пылинки — неужели и вправду вот оно, решение судьбы, знамение любви или тьмы? Луч гаснущего солнца медленно приблизился, поднялся над склоненной черной головой, затрепетал в золотой дымке — и исчез.

Едва держась на ногах, ничего не видя, Анна вышла из церкви. Почему она прошла мимо мужа и юноши, даже не взглянув в их сторону, она и сама не могла бы сказать. Разве потому, что жертвы не приветствуют своих мучителей. Очутившись у себя в комнате, она почувствовала смертельную усталость, легла на кровать и уснула крепким сном.

Разбудил ее какой-то звук, и, узнав в нем легкий стук мужа, она не отозвалась, — ей было все равно, войдет он или нет. Он бесшумно вошел. Если она притворится спящей, он ее будить не станет. Она лежала неподвижно и следила за тем, как он подвинул стул, сел на него верхом, обхватив спинку и уперев в руки подбородок, и пристально смотрел на нее. Из-под опущенных век Анна направила взгляд так, чтобы ей отчетливо видно было только одно его лицо, — вырванное из окружающего, оно обозначилось от этого еще четче и яснее. Ей вовсе не стыдно было такого взаимного разглядывания и того преимущества, которое у нее при этом оказалось. Он еще ни разу не дал ей увидеть, что у него на душе, ни разу не открыл ей, что таится за этими ясными насмешливыми глазами. Может быть, теперь она наконец увидит? И она рассматривала его с тем увлеченным интересом, с каким глядят в лупу на крохотный полевой цветок, который, вдруг утратив свою незначительность, возрастает до размеров и важности роскошного питомца оранжерей. Одна мысль не покидала ее: вот на меня смотрит его подлинное «я», потому что ему ведь незачем ограждать себя от меня сейчас. Поначалу взгляд его маскировала всегдашняя

непроницаемость, лицо сохраняло привычное любезное выражение, но незаметно в нем наступила перемена. Она едва узнавала его: вся его любезность, вся непроницаемость исчезли, растаяли, как тает иней, обнажая траву. И душа ее сжалась, ибо она словно и вправду стала тем, что видел перед собой он, — чем-то совершенно незначительным, просто пустым местом. Да, да, у него было выражение человека, глядящего на то, чего нельзя понять, а потому и недостойное понимания, на существо, лишенное души, на создание, принадлежащее к иному, низшему виду, чем мужчина, и не представляющее никакого интереса. В лице его читался некий окончательный вывод, такой определенный и бесповоротный, что не оставалось сомнения: это его сущность, неотъемлемая, неизменная часть его «я». Вот что такое он! Женоненавистник. Ее первой мыслью было: и этот человек женат — что за судьба! А вторая: если таково его воззрение, то, может быть, и тысячи других мужчин это воззрение разделяют. Неужели и вправду я и все мы, женщины, такие, какими считают нас они? Уверенность в его взоре — его полная, абсолютная убежденность — угнетала ее, и она на мгновение поддалась ей, раздавленная и уничтоженная. Но тут же дух ее восстал с такой яростью и кровь с такой силой устремилась по жилам, что она с трудом сохраняла неподвижность. Как смеет он считать ее такой — ничтожеством, бездушным клубком капризов, настроений и чувственности! Нет, тысячу раз нет! Это он — бездушное существо, сухарь, без жизни, без святыни. Он, в своем отвратительном высокомерии отрицающий ее и с нею всех женщин! Он смотрел так, словно видел перед собою лишь куклу, разряженную в разноцветные тряпки, помеченные ничего не значащими надписями: душа, ум, права, обязанности, достоинство, свобода. Это мерзко, ужасно, что он видит в ней такую куклу! И в душе ее завязалась поистине титаническая борьба между желанием вскочить и бросить ему все это в лицо и сознанием, что было бы пошло, унижительно и глупо препираться с ним о том, в чем он никогда не признается, чего он никогда и не думал ей открывать. Потом на помощь ей пришла насмешливая, злая мысль: что за смешная вещь брак! Подумать только, она прожила с ним бок о бок все эти годы, даже и не догадываясь, что кроется в глубине его души! Подойди она, наверно, к нему сейчас и признайся, что любит этого мальчика, — он только подождет губы и скажет насмешливым

тоном: «Вот как? Очень интересно», — потому что он увидит в этом лишь подтверждение своим взглядам на нее как на незначительное, бессмысленное существо низшего порядка, не представляющее для него особого интереса.

Как раз когда она почувствовала, что больше сдерживаться не может, он вдруг встал со стула, на цыпочках подошел к двери, бесшумно отворил ее и вышел.

Она соскочила с постели, как только за ним закрылась дверь. Так, значит, она связана на всю жизнь с человеком, для которого она, да и вообще женщины как бы и вовсе не существуют! Ей казалось, что это — открытие великой важности, ключ ко всем загадкам, ко всей безысходности ее замужней жизни. Если действительно он в глубине души тайно ее презирает, единственное чувство, которое причитается от нее этому узколобому слепцу и сухарю, — это такое же презрение. Она, правда, отлично сознавала, что презрение не повлияет на то, о чем она прочитала по его лицу, — слишком надежно он огражден рассудочным, унылым сознанием собственного превосходства. Он навсегда укрылся за этими прочными стенами, и штурмовать их бесполезно. Впрочем, не все ли равно сейчас?

Обычно такая скорая, почти небрежная, она в тот вечер провела довольно много времени за туалетом. Шея у нее сильно загорела, и она никак не могла решить, запудрить ли ее или смириться с этой цыганской смуглостью. В конце концов решила обойтись без пудры, так как видела, что загар выигрышно оттеняет ее глаза в черных ресницах, такие прозрачно-зеленые, точно горные ледники, и темные волосы с их неожиданными проблесками пламени.

Когда позвонили к обеду, она вышла из комнаты, прошла мимо двери мужа, не постучав, как было у них заведено, и одна спустилась вниз.

В зале она застала кое-кого из компании англичан, повстречавшихся им днем в горном Приюте. Они не поклонились ей, вспыхнув вдруг повышенным интересом к барометру; но она чувствовала на себе их внимательные взгляды. В ожидании обеда она села и сразу же увидела юного Леннана, который через весь зал шел к ней, словно во сне. Он не произнес ни слова. Но какими глазами он на нее смотрел! Сердце ее учащенно забилось. Может быть, вот оно, мгновение, о котором она мечтала? И если это оно, то хватит ли у нее

смелости не пропустить его? Тут она заметила мужа, спускавшегося по лестнице, увидела, как он раскланивается с компанией англичан, услышала их надменные голоса. И, поглядев на юношу, быстро спросила: «Какая была хорошая прогулка, правда?» Как восхитительно видеть у него на лице это выражение, словно он забыл обо всем на свете, кроме нее! В его взгляде светилось в этот миг какое-то благоговение, смиренный восторг перед чудесами Природы. Ужасно думать, что через минуту это выражение исчезнет, чтобы никогда уже, быть может, не вернуться на его лицо, — выражение, которое так много для нее значит! Вот ее муж, он подходит к ним! Пусть видит, если желает. Пусть видит, что перед ней преклоняются, что не для всех она низшее существо. И он, вероятно, видел лицо юноши, но в манере его ничто не изменилось. Нет, он, верно, ничего не заметил. Или просто не снизошел до того, чтобы заметить?

VII

И для юного Леннана наступили удивительные времена, когда он сам от минуты до минуты не мог сказать, счастлив ли он или несчастен. Он постоянно стремился быть с нею, терзался, когда это ему не удавалось, страдал, если она скажет слово или улыбнется кому-то другому; но и в ее обществе терзания не прекращались; его мучила и угнетала собственная робость.

Однажды дождливым утром, когда она играла внизу на рояле, а он сидел подле и слушал, воображая, что ему предоставлено безраздельно наслаждаться ее обществом, в зал вдруг вошел молодой немец-скрипач, с бледным лицом, в коричневом, в талию, сюртуке, с волосами до плеч и небольшими бачками — словом, на редкость неприятный субъект. Леннан и оглянуться не успел, как уж этот неприятный субъект попросил ее ему аккомпанировать, — как будто кому-нибудь интересно слушать, как он пикирует на своей скрипке! Каждое ее слово, каждая улыбка, которые доставались немцу, причиняли юноше боль, он убеждался, что с этим иностранцем ей гораздо интереснее, чем с ним. На душе у него становилось все тяжелее, он думал: «Я должен бы только радоваться, раз ей с ним хорошо, а я не могу радоваться! Разве я виноват?» Непереносимо было видеть, как она улыбается, а этот негодяй нагнулся к самому ее лицу. Вдобавок ко всему они еще говорили друг с другом по-немецки, так что он не знал даже, о чем у них разговор, и от этого муки его возрастали. Он и не подозревал, что человек может так страдать!

Потом ему захотелось, чтобы ей тоже стало больно. Впрочем, это ведь низкое чувство, да и как бы он мог причинить ей боль? Он же ей безразличен. Он для нее — ничто, мальчишка. Если правда, что она считает его всего лишь мальчишкой, его, который чувствует себя таким старым, то это просто ужасно. Может быть, мелькнуло у него в уме, она кокетничает с этим недоучкой-скрипачом, чтобы подразнить его? Нет, на такое она не способна. Но скотина-немец возомнит Бог знает что из-за ее улыбок. Вот бы он позволил себе какую-нибудь непочтительность! Пригласить бы его тогда на прогулку в лес, а там сказать ему несколько слов и потом задать хорошую трепку. А ей бы он

ничего не стал говорить, не стал бы выставлять себя в выгодном свете. Просто держался бы в отдалении, пока она сама не поймет. Но тут он вдруг с такой ясностью, с такой остротой, с такой мукой представил себе, что бы он испытал, если бы она и в самом деле вместо него избрала себе в друзья этого немца, что встал порывисто и направился к двери. Неужели она ни слова не захочет ему сказать, не попробует остановить его, вернуть? Если нет, то все кончено: значит, кто угодно для нее важнее, чем он. Несколько шагов до двери были ему, как дорога на эшафот. Неужели не окликнет? Он обернулся. Она улыбалась. Но он в ответ улыбнуться не мог, слишком уж сильную боль она ему причинила! Отвернувшись, он вышел и ринулся без шапки под дождь. Холод струй на лице принес ему чувство мрачного удовлетворения. Вот сейчас он промокнет до костей. Простудится и, может быть, даже заболит. На чужбине, вдали от родных, — конечно, она должна будет за ним ухаживать. И, может быть, больной, он снова станет ей интереснее, чем этот тип со скрипкой, и тогда... ах, если б ему только заболеть!

Раздвигая мокрые ветки, он быстро взобрался по склону невысокой горы позади гостиницы. На вершину ее вела узкая тропка, и скоро он уже торопливо шагал по ней. Чувство обиды утихло, заболеть уже не хотелось. Дождь перестал, засветило солнце; а он шел все вверх и вверх. Он подыметя на вершину быстрее, чем это кому-нибудь удавалось. Тут-то уж подлому скрипачу с ним не потягаться! Сосны сменились карликовыми лиственницами, те, в свою очередь, уступили место низкорослым сосенкам и голым каменистым осыпям, по которым он карабкался, хватаясь за кусты, задыхаясь, слыша лишь стук своего сердца и почти ослепнув от пота. Его интересовало сейчас только одно: успеет ли он долезть до вершины или прежде свалится, обессиленный. Казалось, он вот-вот упадет мертвый, так сильно билось его сердце; но лучше уж умереть, чем отступить перед какими-нибудь несколькими ярдами! И вот наконец маленькая площадка на вершине. Минут десять пролежал он на ней ничком, потом перевернулся на спину. Сердце перестало бешено колотиться, он с наслаждением перевел дух, раскинул руки на дымящейся после дождя траве, — он был счастлив. Как чудесно тут наверху, в горячих лучах солнца, сияющего с безоблачного уже неба! И каким маленьким кажется отсюда все внизу — гостиница, деревья, домики, улицы, —

точно игрушечные! Никогда в жизни не испытывал он раньше этой чистой радости быть высоко вверху. В клочья разорванные тучи тянулись, гонимые ветром, вдоль горных хребтов на юге, точно бегущие полчища титанов в запряженных белыми конями колесницах. Ему вдруг подумалось: «Что из того, если бы я и вправду умер, когда так страшно билось у меня сердце? На свете ничего бы не изменилось: все так же светило бы солнце, так же сияла бы лазурь в небесах и те же игрушечные домики стояли бы там в долине». Муки ревности, которые терзали его час назад, да они ничто! Он сам ничто! Не все ли равно, если даже она и была ласкова с тем немцем в коричневом сюртуке? Разве это имеет значение, когда мир так велик, а он лишь крохотная его частица?

На краю площадки, в самой возвышенной точке, стоял сколоченный кем-то грубый крест, резко обозначившийся на фоне синего неба. Он был здесь совсем не к месту, корявый, перекошенный, неумолимый — воплощенная безвкусица, точно люди, втащившие его сюда, знали власть лишь одной думы и им безразлично было, подходит сюда крест или нет. С равным же успехом можно было бы установить в той уютной церквушке, где тогда молилась она, один из этих вот утесов.

Очнулся он от звона колокольцев, шороха и сопения: возле него стоял большой серый козел и обнюхивал его волосы; скоро вслед за вожаком вокруг столпилось все стадо, с важным любопытством уставив на него продолговатые зрачки странных желтых глаз, потряхивая хвостами и забавными бородками. Какие славные создания — и доброжелательные. Вот хорошо бы вылепить их! Он лежал недвижимо (переняв от своего опекуна, страстного рыболова, это необходимое для знакомства со всякой живой тварью искусство) даже тогда, когда вожак надумал отведать, каков его затылок на вкус. Приятно было почувствовать, как прошелся по коже длинный шершавый язык, от этого в душе пробудилось какое-то странное братское чувство. Он с трудом удержался, чтобы не погладить козлиный нос. Ну вот, а теперь каждой понадобилось лизнуть его затылок; но иные из коз оказались чересчур робкими, и прикосновение их языка не царапало, а только щекотало, и он рассмеялся. При этих загадочных звуках козы отпрянули и снова уставились на него из отдаления. Он думал сначала, что за ними никто не смотрит, но потом

в стороне заметил пастуха — молодой парень, примерно его ровесник, неподвижно, точно изваяние, сидел в тени под скалой. Как тоскливо ему, должно быть, проводить здесь целые дни! Он, наверно, разговаривает с козами. Вид у него такой, что вполне на это похоже. Посидишь тут наверху, так странные мысли заведутся, узнаешь близко все эти скалы, и облака, и зверей, и птиц, будешь понимать, что они думают, чего хотят. Пастух издал какой-то особенный свист, и с козами что-то случилось — что именно, Леннан затруднился бы сказать, — словно бы они ответили ему: «Мы здесь!» Потом пастух вышел из-под скалы, подошел к краю площадки, и две козочки, щипавшие там траву, стали тереться об его ноги и тыкаться носами ему в ладони. Красиво они выглядели втроем на фоне неба...

Вечером, после обеда, в столовой расчистили место для танцев, чтобы постояльцы чувствовали себя свободно и празднично. И действительно, вскоре на вошеном полу уже двигалась одна пара с обычным для гостиниц извиняющимся видом. За ними вдруг на простор выскочили три итальянские пары — и закружились, завертелись, смотря в глаза друг другу; соблазненные примером, пошли танцевать американцы, легкими шагами, то пятясь, то наступая. Следующими оказались двое из компании «надутых англичан», старательно изображавшие на лицах веселье. Леннану казалось, что все они танцуют превосходно, куда лучше, чем сумел бы он. Осмелится ли он пригласить *ее*? И тут он увидел, как вскочил молодой скрипач, и она тоже подымается, опирается на его руку и исчезает в столовой среди танцующих. С унылым чувством в душе он прижался лбом к окну, глядя в ночь, освещенную лунным сиянием, и ничего, конечно, не видя. Потом услышал свое имя — рядом стоял его профессор.

— Нам с вами, Леннан, остается только утешать друг друга. Танцы — это не для нас, стариков, верно?

По счастью, характер и воспитание не позволяли юноше обнаруживать свои чувства; как ни страдаешь, учтивость — прежде всего.

— Да, сэр. Посмотрите, какая изумительная луна на дворе!

— О да, луна превосходная. В вашем возрасте я не хуже прочих «кружился, чуть земли касаясь стопами легкими, как сон».^[5] Но постепенно убеждаешься, что для танца нужна пара — вот в чем

трудность. Скажите, считаете ли вы женщин полноценными людьми, способными отвечать за свои поступки? Мне хотелось бы услышать ваше мнение по одному вопросу.

Конечно, сказано это было насмешливо, но что-то прозвучало в его словах, что-то неуловимое...

— Я думаю, сэръ, это вы должны поделиться со мною своим мнением.

— Дорогой Леннан, мой опыт здесь ничтожен.

Это уже оскорбление ей. Он не станет отвечать! Хоть бы Стормер ушел наконец! Музыка смолкла. Они сейчас сидят там где-нибудь, разговаривают...

Он сделал усилие и сказал:

— Я сегодня лазил на гору позади гостиницы. Знаете, на которой крест стоит. Там были славные козы.

И увидел, что к ним идет она, одна, разругавшаяся, улыбающаяся; и платье на ней, вдруг поразился он, точно такого же цвета, как лунный свет за окном.

— Харолд, пойдём танцевать?

Сейчас он ответит «Да», и она опять исчезнет! Но Стормер только отвесил жене небольшой поклон и сказал со своей всегдашней улыбкой:

— Мы с Леннаном уговорились, что танцы не для нас, стариков.

— Иногда старики должны жертвовать собой. Марк, пойдёте танцевать?

Позади себя он услышал голос профессора: «Ах, Леннан, Леннан! Вы меня предали».

Эти несколько мгновений, пока они молча шли в зал, были, кажется, счастливейшими в его жизни. И напрасно он так волновался, что плохо танцует. Конечно, он далек от совершенства, но все-таки не испортит ее танец — а она кружится упоенно, такая легкая, уверенная, ликующая! Танцевать с нею — наслаждение. Только когда смолкла музыка и они сели, он почувствовал, как кружится у него голова. Ему вдруг стало так странно, так не по себе. Он услышал ее голос:

— Что с вами, мой друг? Вы так побледнели!

Сам не понимая, что делает, он склонился к ее руке, лежавшей у него на локте, и больше ничего уже не чувствовал, потому что был в обмороке.

VIII

Мальчик растет и переутомился с утра — только и всего. Он очень скоро пришел в себя и один, без помощи, добрался до постели. Но как это ужасно! Никто еще так не стыдился своей слабости, как он. Теперь, когда он и в самом деле оказался немного нездоров, даже мысль, что за ним станут ухаживать, была ему нестерпима. Он почти грубо ушел от нее. И только в постели вспомнил вдруг, как она на него тогда посмотрела. Взгляд у нее был печальный, страдальческий, словно моливший о прощении. Как будто она в чем-то была перед ним виновата! Как будто она не подарила ему величайшее блаженство, танцуя с ним! Он жаждал сказать ей: «Если бы я мог каждый день хоть на одну минуту быть вот так рядом с вами, тогда до остального мне дела нет!» Может быть, завтра он наберется храбрости и скажет ей это. Он лежал, и ему все еще было немного не по себе. Он забыл повернуть планки жалюзи, и лунный свет просачивался в окна; но было лень среди дремы вставать и закрывать их. Ему дали там выпить коньяку, и немало, поэтому, может быть, он чувствует себя сейчас так странно: не то чтобы плохо, а как-то осоловело, словно навеки утратил желание шевелиться. Лежать бы так всегда, любоваться дымчатым лунным светом и слушать доносящееся снизу далекое биение музыки, не переставая чувствовать под своей рукой ее гибкий стан, покачивающийся в танце, и все время обонять чудесный запах цветов! Его мысли были сонными грезами, грезы — мыслями, и все вместе — божественной нереальностью. И вдруг ему почудилось, будто лунный свет весь собрался в один бледный луч, — что-то зашуршало, заколыхалось и лунный луч двинулся прямо к нему! Он приблизился настолько, что Леннан ощутил его тепло у себя на лбу; а луч вздохнул, помедлил, неслышно отпрянул и пропал. Но Леннан, верно, уже забылся глубоким, спокойным сном...

В котором часу разбудил его легкий стук в дверь и он, открыв глаза, увидел на пороге своего профессора с чашкой чая в руках?

Ну, как здоровье юного Леннана? О, он превосходно себя чувствует и через две минуты спустится вниз! Мистер Стормер ужасно любезен, что зашел. Но ему, право же, ничего не нужно.

Ничего, ничего, ведь об увечных и немощных надо заботиться. Лицо у него в это мгновение было доброе — он почти не смеялся, только самую чуточку. И с его стороны это в самом деле было очень любезно — прийти и стоять, пока он, Леннан, выпьет чай. Но, право же, он совершенно здоров, ну, разве голова чуть побаливает.

Одеваясь, Леннан то и дело замирал, погружаясь в воспоминания. Этот белый лунный луч — только ли лунный свет это был? Или это его сон? Или — возможно ли? — это была она в своем лунном платье? Почему, почему он заснул? Теперь он ни за что не отважится спросить у нее и никогда не узнает, был ли то поцелуй — эта смутная память о теплом прикосновении к его лбу.

Он завтракал один в том зале, где вчера были танцы. Там для него лежали два письма. Одно было от опекуна, а в нем деньги и жалобы на то, что форель плохо клюет; второе — от сестры. Ее жених — молодой многообещающий дипломат, состоящий при посольстве в Риме, — опасается, что отпуск ему сократят. В таком случае они поженятся немедленно. Придется даже, может быть, взять специальное разрешение. Хорошо еще, что Марк скоро возвращается. Он просто обязательно должен быть у них на свадьбе шафером. А единственной подружкой будет Сильвия. Сильвия Дун? Да ведь она же совсем ребенок! И в памяти его возникла девочка в коротком полотняном платье, с льняными волосами, красивыми голубыми глазами и такой нежной кожей, что казалась совсем прозрачной. Впрочем, ведь это было шесть лет назад; сейчас-то она уже не носит платья до колен и ожерелья из бисера и не боится вечно каких-то воображаемых быков. Глупость это — ну какой из него шафер? Могли бы найти какого-нибудь более подходящего человека. И вдруг он забыл про все: там, на террасе, была она! Со всех ног он бросился к ней мимо сидевшей возле двери компании «надутых англичан», которые проводили его косыми взглядами. Разумеется — ведь вчера вечером он оскорбил их лучшие чувства. Оксфордский студент падает в обморок в зале гостиницы! Нет, тут что-то не так!..

Очувтившись подле нее, он неожиданно обрел храбрость.

— Неужели это был лунный свет?

— О да, один только лунный свет.

— Но он же был теплым!

На это она не ответила, и он испытал такое же светлое, пьянящее чувство, как в школе, когда он вышел победителем в беге.

Но его ждал жестокий удар. Стормер встретил здесь своего прежнего проводника, который спустился с гор с партией немецвоальпинистов. И в профессоре пробудился старый боевой конь. Он собирается сегодня же уйти в горы: добраться к ночи до высокогорного приюта, а завтра перед зарей начать восхождение на вершину. Но Леннана не возьмут. Почему? Из-за вчерашнего обморока и еще из-за того, конечно, что у него «нет опыта». Какая глупость! Как будто уж... Раз она может, так неужели же он... Ведь он не ребенок! Уж, конечно, он мог бы подняться на эту дурацкую гору. Просто она не хочет, чтобы он с ними шел. Не считает его мужчиной! Неужели она думает, что ему не взобраться туда, куда может взобраться ее муж? А если там опасно, тогда и она не должна идти; оставлять его внизу одного — это просто жестоко! Но она только улыбалась, и он бросился прочь от нее, не видя, не понимая, как она радуется этим его страданиям.

А днем они все-таки ушли, без него. В какие мрачные думы он тогда погрузился! Как ненавидел собственную молодость! Какие мстительные рисовал себе картины: вот она возвращается, а его нет — он ушел на другую гору, куда более опасную и трудную! Если его не берут с собой, он будет совершать восхождения один. Это-то действительно опасно, так все говорят. А все она виновата. Тогда уж она пожалеет. Он встанет пораньше и отправится еще до зари. Он собрал вещи, наполнил флягу. Луна вечером светила еще изумительнее, чем накануне, горы стояли под луною, точно гигантские призраки. А она где-то там наверху, среди этих призрачных вершин! Долго он не мог заснуть, все заново переживая свои обиды. Впрочем, он и не хотел засыпать — ведь в три часа он уже отправится в путь.

Он проснулся в девять часов. Гнев его прошел, оставались только стыд и досада на себя: если б он вчера не бросился вон, не стал бы попусту спорить, он мог пойти вместе с ними до приюта, переночевать там. Ну и дурак же он, ну и болван! Кое-что еще, пожалуй, можно поправить. Если выйти сейчас, то он еще успеет встретить их в приюте, когда они спустятся с горы, и потом вместе с ними вернуться в гостиницу. Он проглотил чашку кофе и пустился в путь. Сначала он уверенно шел по знакомому пути, потом заблудился в лесу, наконец вышел на тропу и только к двум часам добрался до приюта. Да, они

здесь ночевали и рано утром начали восхождение, их видели и слышали, как они переключались на вершине. Gewiss! Gewiss!^[6] Только обратно они пойдут уже не этой дорогой. Нет, нет! Они будут возвращаться по западному склону, через другой перевал. И окажутся дома еще раньше, чем молодой Негг.^[7]

Как ни странно, но он выслушал это известие едва ли не с облегчением. Долгая ли дорога тому причиной, или высота, на которой он сейчас находился? Или просто он голоден? Или причиной тому хозяева, такие славные, гостеприимные люди, и их дочка, у которой такое свеженькое личико, на голове смешная черная шапочка с длинными лентами, грудь стянута бархатным корсажем, а повадки так восхитительно просты; или серебристые коровушки, которые тычут ей в ладонь свои широкие черные носы? Отчего здесь улетучилось все его беспокойство и он почувствовал себя таким довольным и счастливым?.. Он ведь не знал, что резвящийся щенок всегда так: что последнее увидит, к тому и рвется. Он долго еще сидел после завтрака, пробовал рисовать низкорослых коровушек, смотрел, как солнечный зайчик дрожит на румяной девичьей щеке, пытался разговаривать с девушкой по-немецки. И когда наконец он сказал: «Adieu!» — и она пролепетала в ответ: «Kuss die Hand. Adieu!»^[8] — сердце у него ощутительно сжалось. Непостижимо и чудесно человеческое сердце!.. И все же, подходя к гостинице, он прибавил шагу и под конец даже побежал. Зачем, зачем он так долго там пробыл. Она, должно быть, уже вернулась, думала застать его, а вместо него теперь, наверно, опять проводит время с этим гнусным скрипачом! Он добрался до гостиницы перед самым обедом, так что ему едва достало времени взбежать к себе, переодеться и сойти в столовую. Ах! Ну конечно, они устали и отдыхают у себя. Он с трудом высидел обед; перед десертом вскочил и ринулся вверх по лестнице. Постоял минуту в сомнениях: в чью дверь постучаться? Постучался робко к ней — ответа нет. Громко постучал к профессору. Нет ответа. Значит, они еще не вернулись. Не вернулись? То есть как это? Может, они просто спят? Он еще раз постучал в ее дверь; потом в отчаянии повернул ручку и заглянул в комнату. Пусто, чисто, все прибрано! Значит, не вернулись! Он снова спустился по лестнице. Из столовой навстречу ему потянулись люди, и он очутился в самой гуще «надутых англичан», обсуждавших несчастный случай, который произошел с альпинистами где-то в

Швейцарии. Он прислушался, и ему стало совсем не по себе. Один из них, низкорослый господин с седенькой бородкой и пришепетывающим говорком, сказал ему: «Сегодня опять в одиночестве? Стормеры не возвращались?» Леннан хотел было ответить, но что-то сжало ему горло, и он смог только покачать головой.

— Но у них, конечно, есть проводник? — спросил тот.

И Леннан теперь сумел выдавить из себя:

— Да, сэр.

— Стормер, я полагаю, имеет солидный опыт, — и, повернувшись к даме, которую молодые члены компании называли «Madre», добавил: — Для меня главная прелесть восхождений — это свобода от людей, удаленность.

«Madre» юных ханжей отозвалась, устремив на Леннана взгляд полузакрытых глаз:

— На мой вкус, это скорее недостаток. Я люблю общество мне подобных.

На что господин с бородкой возразил приглушенным голоском:

— А! Опасное признание — ведь мы в гостинице!

И они продолжали беседовать между собою, но о чем, Леннан уже не понимал, весь охваченный внезапным острым чувством страха. Правда, перед этими «надутыми англичанами», столь глубоко презиравшими все вульгарные человеческие чувства, он не отважился дать волю своей тревоге; и так они относились к нему пренебрежительно из-за того обморока. Только немного спустя он осознал, что все вокруг него со вкусом рассуждают об одном: что бы это могло произойти со Стормерами? Спуск там ужасный, и траверс весьма опасен. Надутый господин с воротничком, который у него, однако, на сей раз не был помят, заявил, что, по его мнению, женщинам вообще нечего делать в горах. Женщины-альпинистки — это одно из плачевнейших знамений теперешнего времени. Мамаша надутых юнцов тут же ему возразила: фактически это может получаться плохо, но теоретически она не видит причин, почему бы женщинам и не заниматься альпинизмом. Один американец, очутившийся поблизости, поверг их всех в смятение, заметив, что горные восхождения, должно быть, расширяют женский кругозор. Леннан бросился на крыльцо. Луна только что взошла на юге, и прямо

под нею высилась та самая гора. И перед его глазами замелькали видения, одно страшнее другого! Вот она лежит мертвая, а вот он сам героически спускается по отвесному склону на узкий уступ и подымает ее на руки, замерзшую, но еще живую. Даже это лучше, чем не знать, где она и что с ней. Из гостиницы выходили люди погулять при луне и с любопытством посматривали на его осунувшееся, застывшее лицо. Его спрашивали, как он думает, не случилось ли с ними что-нибудь, но он отвечал: «Да нет, что вы». Скоро на розыски отправится спасательная партия. Когда же? Он должен, он непременно хочет принять в ней участие. Уж теперь-то его никто не остановит. И внезапно ему пришла мысль: «Это все из-за меня, из-за того, что я целый день пробыл там наверху и болтал с той девушкой. Из-за того, что я не думал о ней!»

Потом он услышал позади себя шум: по коридору, войдя через боковые двери, шли они — она впереди, с рюкзаком, с альпенштоком, улыбающаяся, довольная. Безотчетно он отпрянул от двери и спрятался за каким-то деревом. Прошли. Ее загорелое лицо с глубоко посаженными глазами было такое ликующее, усталое, счастливое. Отчего-то это показалось ему непереносимо, и когда они прошли, он сбежал украдкой в лес, бросился там ничком в глубокой тени и лежал, давясь сухим комком рыданий, который все подкатывал и подкатывал к горлу.

IX

Весь следующий день он был счастлив; чуть не до вечера пролежал он у ее ног под сенью той же самой рощи, что и тогда, блаженно глядя в небо сквозь ветви лиственниц. Это было чудесно. И вокруг никого, только одна природа, живая, деятельная, великая!

Вчера, возвращаясь в долину из приюта, он заметил одну вершину, которая очень похожа на фигуру женщины, закутанной в покрывало, — грандиознейшая статуя на земле; а спустишься пониже, и это уже не женщина, а мужчина с бородой, рукой загородивший глаза. Видела она эту вершину? А замечала ли она, что в лунном свете или на восходе солнца все горы становятся похожи на зверей? Больше всего в жизни ему хочется создавать изображения зверей и всяких тварей, которые... в которых заключен... в которых живет... дух Природы; чтобы стоило только поглядеть на них, и испытаеть то же радостное, приятное чувство, как если смотришь на деревья, на животных, на эти скалы и даже на некоторых людей, — но только не на «надутых англичан».

Так он окончательно решил посвятить себя искусству?

О да, разумеется!

Значит, ему хочется уехать... из Оксфорда?

Нет, нет! Только когда-нибудь все же придется, конечно.

Она сказала:

— Некоторые остаются.

И он поспешил добавить:

— Я ни за что не хочу уезжать из Оксфорда, пока там вы!

И услышал, как она вздохнула:

— Еще захотите... Ну-ка помогите мне встать!

И они вернулись в гостиницу.

Она вошла внутрь, а он остался на террасе, и как только она скрылась за дверью, его вновь охватило гнетущее чувство. Рядом чей-то голос произнес:

— Ну, друг Леннан, что у вас: тоска зеленая или розовые мечты?

Поблизости в одном из тех плетеных кресел с высокой спинкой, которые надежно отгораживают сидящего от внешнего мира,

полулежал его профессор, чуть откинув набок голову и составив концами пальцы обеих рук. Точно идол восседающий! И этот человек поднимался вчера на такую гору!

— Глядите бодрее! Вы еще успеете сломать себе шею! Помню, в вашем возрасте меня глубоко возмущало, когда мне не давали рисковать чужой жизнью.

Леннан еле выговорил:

— Об этом я как-то не... не подумал. Но, по-моему, если миссис Стормер могла пойти, я тоже мог.

— Ага! При всем нашем восхищении, мы тем не менее не можем допустить... когда доходит до дела, не правда ли?

Юноша горячо встал на ее защиту:

— Вовсе нет! Я считаю, что миссис Стормер ничуть не хуже любого мужчины, только... только...

— Только чуть похуже вас, а?

— В тысячу раз лучше, сэр!

Стормер улыбнулся. Ох, уж эта ирония!

— Леннан, — сказал он, — остерегайтесь гипербол.

— Я знаю, конечно, что в настоящие альпинисты не гожусь, — снова вспыхнул юноша. — Но только... по-моему, там, где ей позволяют рисковать жизнью, мне тоже должны позволить!

— Хорошо! Это мне понравилось. — Сейчас в его голосе не звучало и намек на иронию, и молодой человек даже смутился.

— Вы молоды, друг Леннан, — продолжал Стормер. — Как вы думаете, в каком возрасте к мужчине приходит благоразумие? И не мешает вам помнить — женщинам сия главнейшая сторона храбрости^[9] вообще не присуща.

— По-моему, женщины — прекраснейшие в мире создания! — выпалил юноша.

— Дай вам Бог подольше придерживаться такого мнения! — Профессор поднялся и саркастически разглядывал собственные колени. — Стали ноги затекать! — заметил он. — Оповестите меня, когда измените свои взгляды.

— Этого не будет никогда, сэр!

— Ах, Леннан, «никогда» — срок долгий. Пойду выпью чаю. — И он на плохо гнущихся ногах зашагал прочь, словно бы посмеиваясь на ходу над собственной немощью.

Леннан, с горящими щеками, остался, где был. Слова его профессора опять прозвучали укором ей. Как можно так отзываться о женщинах?! Если это и правда, он не желает ее слышать; а если неправда, то говорить такое — просто подло. Ужасно, должно быть, не ведать высоких чувств, вечно ко всему относиться саркастически. Ужасно быть таким, как эти «надутые англичане», хотя, конечно, старик Стормер от них отличается: ведь он гораздо образованнее и умнее, куда умнее, но только так же смотрит на все сверху вниз. «Некоторые остаются...» Что она хотела сказать? Остаются такими вот «надутыми»? Внизу прямо под ним крестьянское семейство косило и сгребало сено. Ее можно представить себе среди косцов, в таком же цветном платке на волосах и красивую, как всегда; ее можно представить себе за любой простой работой, а вот со стариком Стормером не вяжется никакое другое занятие, кроме его профессорства. И внезапно юноша почувствовал себя подавленным, несчастным от этого смутного провидения в чужие загубленные жизни. Он решил, что ни за что не станет таким, как Стормер, когда постареет! Нет, уж лучше быть последним подлецом, чем вот таким, как он!..

Когда он вошел к себе в номер переодеться к обеду, он увидел на столике в стакане с водой большую темно-красную гвоздику. Кто ее сюда поставил? Кто мог ее поставить, кроме нее? У цветка был такой же аромат, как и у тех горных гвоздичек, которыми она тогда его засыпала, но только полнее, насыщеннее — волнующий, темный, сладкий запах. Прежде чем воткнуть его в петлицу, он прижал цветок к губам.

В тот вечер опять были танцы — танцующих было больше, и к роялю прибавилась еще скрипка. *Она* спустилась в черном платье. Он никогда прежде не видел ее в черном. Лицо и шея ее были напудрены — она прятала свой загар. При виде пудры Леннан сначала слегка оторопел — он как-то не думал, что порядочные женщины пудрятся. Но если это делает *она*, значит, так и надо! Его глаза не отрывались от нее ни на минуту. Он видел, что немец-скрипач не отходит от нее, что он даже танцевал с нею дважды; видел, как и с другими она танцевала, но смотрел на все, словно во сне, — без ревности, без смятения. Что же это? Уж не волшебство ли? Может быть, этот подаренный цветок у него в петлице волшебный? А когда он танцевал с нею, откуда

возникало это ощущение счастья, хотя они оба хранили молчание? Он не ждал от нее ничего — никаких слов, никаких поступков; ничего не ждал, ничего не хотел. Даже когда он вышел вместе с нею на террасу, даже когда они спустились к обрыву и сели на скамью над теми лугами, где днем он видел косарей, даже и тогда у него не было иных чувств, кроме безмятежного, дремотного обожания. Ночь была темной и тоже какой-то дремотной — луна все еще скрывалась где-то низко за горами. В гостинице рояль со скрипкой опять играли вальс; а Леннан сидел, не двигаясь, не думая, словно всякая способность к движению и к мысли была у него похищена. Запах гвоздики подымался от лацкана прямо к его лицу, ибо ветра не было. И вдруг сердце его остановилось: она наклонилась к нему, ее плечо прижалось к его руке, ее волосы коснулись его щеки! Он закрыл глаза и повернул к ней лицо. Ее губы прижались к его губам быстрым, жгучим поцелуем. Он испустил вздох, протянул руки — и обнял пустоту, один воздух. Только платье ее прошуршало по траве! А цветок — цветок тоже исчез.

В ту ночь Анна ни на минуту не забылась сном. Раскаяние ли не давало ей уснуть, или пьянила память? Если она и опасалась, что поцелуй ее был преступлением, то не против мужа или себя самой, а только против юноши — быть может, она убила в нем возвышенную мечту, разрушила священную иллюзию? Но не чувствовать себя лихорадочно счастливой она тоже не могла, и мысль о том, чтобы отступить, даже не приходила ей в голову.

Так, значит, он готов хоть немножко любить ее! Совсем немножко в сравнении с ее любовью, но все-таки. Ничего иного не мог означать этот поворот головы с закрытыми глазами, словно он хотел зарыться лицом у нее на груди.

Стыдилась ли она своих уловок, к каким прибегала за последние дни? Улыбок, которыми дарила молодого скрипача, нарочно позднего возвращения в тот вечер, когда их ждали с вершины, цветка, который она ему подарила, — всей сознательной осады, которую она вела с того самого вечера, когда муж вошел к ней и разглядывал ее, думая, что она спит? Нет, не стыдилась! Если она и раскаивалась, то только в поцелуе. Об этом страшно было думать, ибо здесь была смерть, полная гибель ее материнского чувства к этому мальчику; а в нем — пробуждение, но чего? Если она для него была загадкой, то чем только не был для нее он, с его пылкостью и мечтательностью, с его юной добротой и невинностью! Что, если поцелуй убил в нем веру, стер утреннюю росу, свергнул звезду с неба? Простит ли она себе это? Как ей снести вину, если из-за нее он делается таким же, как и сотни других мальчиков, как тот молодой скрипач, — просто циничным юнцом, для которого женщины — это, как они выражаются, «законная добыча»? Но полно, сможет ли она сделать его таким, получится ли из него такой? Нет, конечно же, нет; иначе она бы не полюбила его с первого раза, когда только увидела и назвала его ангелом.

Она не знала, что он сделал, куда ушел после того поцелуя, или преступления, если он был преступлением. Быть может, бродил всю ночь, а может, сразу же поднялся к себе. Почему она остановилась на этом, оставила его там на скамейке, бежала от его объятий? Она сама

едва ли знала, почему. Не из стыда, не из страха — из благоговения, может быть, но перед чем? Перед любовью — перед мечтой, тайной, перед всем тем, что делает любовь прекрасной; перед юностью и поэзией юности; перед самой этой темной, тихой ночью и перед запахом цветка — темного цветка страсти, которым она завоевала его и который теперь взяла у него незаметно назад, всю ночь держала у губ, а утром, завядший, спрятала у себя на груди. Она так долго жила без любви, так долго ждала этой минуты — не удивительно, что теперь она сама не отдавала себе отчета, почему поступает так, а не иначе.

А как она встретится с ним сегодня, как посмотрит в его глаза? Изменялись ли они? Исчез ли этот прямой взгляд, который она так любила? Решать все достанется ей, от нее зависит, что будет дальше. И она твердила себе: «Нет, я не побоюсь. Дело сделано. И я возьму то, что дарит мне судьба!» О муже она даже и не вспомнила.

Но при первом же взгляде на юношу она поняла, что какое-то неблагоприятное внешнее событие вмешалось в дело после ее поцелуя. Он, правда, сразу же подошел к ней, но не сказал ни слова, а стоял, весь дрожа, и протянул ей телеграмму, в которой было написано:

«Приезжай немедленно. Свадьба на днях. Ждем тебя послезавтра.

Сесили».

Эти слова, лицо юноши — все затуманилось, расплылось у нее перед глазами. Потом, сделав над собой усилие, она спокойно произнесла:

— Разумеется, вы должны ехать. Не можете же вы не присутствовать на свадьбе вашей единственной сестры.

Он поглядел на нее безропотно; она не могла вынести этого взгляда — так мало знающего, так много просящего. Она сказала:

— Пустяки, каких-нибудь несколько дней. А потом вы вернетесь или мы к вам приедем.

Его лицо сразу же посветлело.

— Вы, правда, приедете к нам скоро, сразу же, если они вас пригласят? Тогда мне не страшно, тогда я... я... У него перехватило

дыхание, и он замолчал.

Она опять сказала:

— Пригласите нас. Мы приедем.

Он схватил ее руку, сжал, сдавил между своими, потом отпустил, нежно погладил и сказал:

— Я сделал вам больно. Простите.

Она засмеялась, чтобы не заплакать.

Он должен был отправиться сейчас же, чтобы не опоздать на поезд и вовремя добраться до дома. Она пошла с ним и помогла ему упаковать чемоданы. Сердце ее точно свинцом налилось, но, не в силах переносить безропотно несчастного выражения его лица, она жизнерадостно болтала о том, что скоро и они вернутся, расспрашивала его про дом, про то, как к ним доехать, говорила об Оксфорде, о следующем семестре. Когда вещи были уложены, она обняла его и на мгновение притянула к себе. Потом она ушла. С порога, оглянувшись, она видела, что он стоит, застыв в том же положении, как она его оставила. Щеки ее были влажны, она вытерла их, спускаясь по лестнице. И только когда почувствовала себя вне опасности, вышла на террасу. Там сидел ее муж. Она спросила:

— Ты не сходишь со мной в город? Мне нужно купить кое-что.

Он поднял брови, туманно улыбнулся и последовал за ней. Они не спеша спустились по склону и пошли по длинной улице городка. Всю дорогу она что-то говорила, а сама все думала: «Его экипаж проедет мимо, его экипаж проедет мимо!»

Их обогнало уже несколько карет. Вот наконец и он. Он сидел, сосредоточенно глядя перед собою; их он не видел. Она услышала, как муж сказал:

— Вот так так! Куда это направляется наш юный друг Леннан, с видом львенка, попавшего в беду, да еще со всем багажом?

Она ответила, стараясь говорить как можно равнодушнее:

— Что-нибудь, наверно, случилось. А может быть, он просто спешит на свадьбу сестры.

Она чувствовала, что муж смотрит на нее, и подумала: интересно, какой у меня сейчас вид? Минуту спустя у самого ее уха раздалось знакомое: «Madre!» — их нагнала компания «надутых англичан».

Эти двадцать миль на лошадях были, наверно, самой тяжелой частью пути. Всегда особенно трудно страдать, если сидишь, не шевелясь.

Минувшей ночью, когда Анна ушла, он долго бродил в темноте, сам не зная где. Потом возшла луна, и он увидел, что сидит у стены сарая на задворках какой-то мызы, где все было мир и сон; а под луной далеко внизу белел в долине городок — крыши и шпили, и мерцал кое-где в окнах слабый, призрачный огонек.

Во фраке, с взлохмаченной темной непокрытой головой, — вот поразились бы обитатели мызы, увидь они его, сидящего на осыпанной сеном поленнице под стрехой их сарая и глядящего перед собою таким задумчиво-восторженным взглядом! Но там жили люди, которым сон дорог.

И вот теперь у него все отнято, все перенесено куда-то в неимоверно отдаленное будущее. Удастся ли уговорить опекуна, чтобы он и в самом деле пригласил их к ним в Хейл? Да и приедут ли они? Его профессору наверняка не захочется забираться в такую глушь — далеко от книг, от всего! Вспомнив о профессоре, он нахмурился, но только от опасения, что тот не захочет приехать; ведь если они не приедут, как он вытерпит еще целых два месяца до начала семестра? Об этом он и думал по дороге, а лошади трусили рысцой, увозя его все дальше и дальше от нее.

В поезде было уже лучше; развлекала вся эта разноплеменная публика, вызывали интерес новые лица, новые места; а потом к нему, измученному, обессилевшему, пришел сон — целая ночь сна, проведенная в углу купе. На завтра опять новые виды в окне, новые лица в вагоне и на платформах; и настроение у него стало медленно изменяться — от тоски и смятения к восхитительной надежде, к вере в обетованную радость. Потом наконец Кале и ночное путешествие на маленьком мокром пароходике сквозь летний шторм, сквозь летящие в лицо клочья пены, среди белых валов, беснующихся на черном лоне вод под дикие завывания ветра. Дальше — Лондон; утренняя поездка по городу, еще спящему в августовской дымке; английский завтрак —

овсяная каша, отбивные котлеты, джем. И вот наконец он в поезде, едет домой. Тут, по крайней мере, можно написать ей письмо. И, вырвав листок из своего альбома для набросков, он начал так:

«Пишу Вам в поезде, поэтому простите, каракули...»

Как продолжать, он не знал, ибо ему хотелось писать о таком, что просто невысказано было выразить на бумаге, — о своих чувствах, которые невозможно передать словами; и потом в письме к ней не должно быть ничего такого, что нельзя было бы прочесть другим. Так о чем же оставалось писать?

«Я так долго ехал, расставшись с Тиродем» (он не отважился поставить: «расставшись с Вами»), «мне казалось, это путешествие никогда не кончится. Но все-таки теперь оно позади — почти. Я всю дорогу думал о Тироде. Для меня это было счастливое время, счастливейшее в моей жизни. И теперь, когда оно прошло, я стараюсь утешить себя, думая о будущем, но ближайшее будущее для меня не слишком радостно. Каковы-то сегодня наши горы? Передайте им от меня привет, особенно тем, которые похожи на львов, что приходят понежиться в лунном свете, — боюсь, Вы не узнаете их по этому рисунку» (тут следовал набросок). «А это церковь, где мы были, а в ней некто стоит на коленях. А вот это долженствует изображать „надутых англичан“, которые глядят, как некто очень поздно возвращается в гостиницу с альпенштоком в руке, — только мне лучше удались „надутые англичане“, чем некто с альпенштоком. Как жаль, что я не принадлежу к их компании и не нахожусь сейчас в Тироде. Я надеюсь получить от Вас вскоре письмо и надеюсь, там будет написано, что Вы уже собираетесь обратно. Мой опекун будет ужасно рад, если Вы приедете и погостите у нас. Он вполне сносный старик, если познакомиться с ним поближе, и еще после свадьбы у нас будет гостить его сестра миссис Дун с дочкой. Если Вы с мистером Стормером не приедете, это будет просто убийственно. Я хотел бы написать о том, как хорошо мне

было в Тироле, выразить все, что я чувствую, но это мне не под силу, так что, пожалуйста, вообразите это себе сами».

И точно так же, как он не знал, какое написать обращение, не мог он теперь придумать, как подписаться, и поставил только:

«Марк Леннан».

Отправил он письмо в Эксетере, где была пересадка, и мысли его совсем ушли от прошлого к будущему. Теперь, приближаясь к дому, он все больше думал о сестре. Через два дня она уедет в Италию, и он долго ее не увидит. Воспоминания обступили его, протягивая к нему руки. Как они с сестрой гуляли в саду и спускались на крокетную площадку, и она рассказывала ему всякие истории, обнимая его рукой за плечи, потому что она ведь на два года старше и тогда была выше его. Как они всегда болтали подолгу в первый день каникул, когда он приезжал домой, и как пили по этому случаю чай с вареньем — сколько кому захочется — в старой классной комнате с готическими окнами за ситцевыми занавесками в цветочек, — только они вдвоем и старушка Тринг (почтенная гувернантка, чьей власти над питомицей теперь пришел конец), да иногда еще беленькая Сильвия, если она в это время гостила там со своей матерью. Сесили всегда понимала его, когда он рассказывал, как плохо учиться в школе, где зверьми и птицами интересуются, только если хотят их убить, где ничего не рисуют, не лепят, — вообще ничего стоящего не делают. Они, бывало, уходили из дому и бродили по берегу реки или в парке, где все так дико и живописно: корявые дубы, огромные камни-валуны, чье присутствие в парке старый кучер Годден однажды объяснил так: «Не иначе как их потоп сюда занес, мастер Марк». Эти и им подобные воспоминания толпой теснились вокруг него. И когда поезд еще только подъезжал к станции, он в нетерпении устремился к дверям, чтобы спрыгнуть и броситься прямо к сестре. Вон и платформа с залом ожидания и с оградой, увитой цветущей жимолостью. Удивительно цветет жимолость в этом году! А вон и она, одна стоит на платформе. Но нет, это не Сесили! Он вышел из вагона, ощущая в сердце странную пустоту, будто воспоминания сыграли с ним шутку. Это и в самом деле была какая-то другая девушка, с виду лет шестнадцати, не

более, в соломенной шляпке с большими полями, закрывавшими ее волосы и пол-лица. На ней было голубое платье, за поясом — веточка жимолости. Кажется, она ему улыбалась и ждала, что он ей тоже улыбнется. Он так и сделал. Тогда она подошла и сказала:

— Я — Сильвия.

Он отозвался:

— О! Вот спасибо, с вашей стороны ужасно мило, что вы приехали меня встретить.

— Сесили страшно занята. Я приехала на двуколке. А у вас много багажа?

Она подхватила его портплед, который он у нее тут же отнял; подняла сумку — он и это взял у нее из рук; и они пошли к двуколке. Там стоял мальчик-грум и держал под уздцы низкорослого серебристо-чалого конька с черной гривой и черным неподрезанным хвостом. Она сказала:

— Ничего, если я буду править? Я как раз учусь.

Он ответил:

— Ну, конечно.

Она уселась на козлы; он заметил, что глаза у нее сияют от радостного волнения. Принесли и уложили в двуколку его чемоданы, и он сел рядом с нею. Она крикнула:

— Отпускай, Билли!

Чалый конек рванулся мимо маленького грума, который, сверкнув на солнце голенищами сапог, ловко вскочил на запятки. Двуколка быстро обогнула станцию, и Леннан, видя, что у его возницы губы слегка приоткрылись от напряжения, заметил:

— Он у вас своевольничает.

— Да, немножко. Но ведь он милый, верно?

— Да, ничего себе.

О! Когда приедет она, он будет ее катать; они уедут одни на этой двуколке, и он покажет ей все окрестности!

Его пробудил к действительности голосок:

— Ой, он сейчас шарахнется!

В тот же миг двуколку рвануло в сторону. Чалый перешел в галоп. Оказывается, на пути попалась свинья.

— Правда, он сейчас такой красивый? А мне надо было его хлестнуть, когда он дернул в сторону, да?

— Да нет, лучше не надо.

— Почему?

— Потому что лошади — это лошади, а свиньи — это свиньи. И для лошадей вполне естественно шарахаться от свиней.

— А-а!

Он поглядел сбоку на ее лицо. Линия щеки и подбородка у нее мягкая и довольно красивая.

— А я ведь вас не узнал, — оказал он. — Вы так выросли!

— А я вас сразу узнала. И голос у вас все такой же, пуховый.

Они опять немного помолчали, пока она вдруг не призналась:

— Он и вправду не слушается поводыев. Это он домой торопится.

— Давайте я теперь буду править?

— Да, пожалуйста.

Он встал и взял у нее вожжи, а она пригнулась и под вожжами пробралась на его место. Волосы у нее пахли в точности, как свежее сено.

Избавившись от обязанностей возницы, она принялась с интересом разглядывать Марка своими яркими голубыми глазами.

— Сесили боялась, что вы не приедете, — заметила она вдруг. — Что за люди эти старики Стормеры?

Он почувствовал, что краснеет, подавил волнение и ответил:

— Это только он старый, а ей лет тридцать пять, не больше.

— Тридцать пять — это тоже старая.

Он удержался от ответа: «Конечно, для такого ребенка, как вы, все старые», — и вместо этого поглядел на нее. Точно ли она такой уж ребенок? Роста она, кажется, довольно высокого (для девушки) и не очень худоцава, а в лице ее есть что-то чистосердечное, мягкое, словно ей очень хочется, чтобы все были к ней добры.

— Она очень красивая?

На этот раз он не покраснел: слишком уж велико было смятение, вызванное ее вопросом. Если он скажет: «Да!» — то словно перед всем миром признается в своем обожании, иной же ответ был бы просто предательством, подлостью. Поэтому он все же сказал: «Да», — изо всех сил прислушиваясь к собственному голосу.

— Я так и думала. Она вам очень нравится?

Он с трудом подавил что-то подкатившее к горлу и опять сказал:

— Да.

Ему захотелось возненавидеть эту девочку, но почему-то это было невозможно: она казалась такой кроткой, такой доверчивой. Она глядела теперь прямо перед собой, и губы у нее все еще были приоткрыты, так что это у нее, видно, не зависело от нрава чалого конька Болеро, и все равно, рот у нее красивый и носик тоже, коротенький, прямой, и подбородок, и вся она такая беленькая. Мысли его вернулись к другому лицу, яркому, полному жизни. И вдруг он обнаружил, что не может себе его представить — впервые за все время разлуки оно отказывалось возникнуть перед ним.

— Ой! Смотрите!

Она тянула его за рукав. На луг за живой изгородью с неба камнем падал ястреб.

— О-о, Марк! Он схватил его, схватил!

Она спрятала лицо в ладони, а ястреб с крольчонком в когтях уже взмывал ввысь. Все это было так красиво, что Леннан даже не испытал жалости к погибшему кролику, но девочку ему хотелось погладить по голове, успокоить. Он сказал:

— Ну, ладно, ладно, Сильвия, ну, не надо. Кролик уже мертвый. И вообще, ведь это же закон природы.

Она отняла ладони — казалось, она вот-вот заплачет.

— Бедный кролик! Он был совсем еще маленький!

XII

Назавтра под вечер он сидел в курительной комнате с молитвенником в руках и, морща лоб, читал венчальную службу. Молитвенник был миниатюрный, специально рассчитанный на то, чтобы не оттопыривать кармана. Впрочем, это не имело значения, ибо даже если бы Марк и мог разобрать слова, он все равно не понял бы, что они означают, поскольку занят он был размышлениями на тему о том, как лучше обратиться с некоей просьбой к некоей персоне, которая сидела позади него за большим бюро с выдвижными крышками и выбирала из коробки искусственных мух для наживки.

Наконец он остановился на следующем:

— Горди! (Почему они называли его Горди, трудно сказать, — то ли это было уменьшительное от его имени Джордж, то ли видоизмененное «гардиан», опекун.) — Как скучно будет, когда уедет Сесили, верно?

— Отнюдь.

Мистеру Хезерли было, наверно, года шестьдесят четыре, если, понятно, у опекунов вообще бывает возраст, и он больше походил на доктора, нежели на помещика; лицо квадратное, слегка одутловатое, глаза прищурены, губы изогнуты, а интонация речи изысканная и в то же время грубоватая, какая свойственна бывает потомкам старинных фамилий.

— Нет, правда, ведь будет ужасно тоскливо!

— Допустим. Ну, и что же?

— Я только думал, может быть, мы пригласим сюда погостить мистера и миссис Стормер — они были ко мне ужасно добры в Тироле.

— Мой милый! Двое незнакомых людей!

— Мистер Стормер увлекается рыбной ловлей.

— Вот как? А она чем увлекается?

Радуюсь, что сидит к старику спиной, юноша ответил:

— Не знаю... чем-нибудь, — она очень приятная женщина.

— Гм! Красивая?

Он ответил, теряя голос:

— Не знаю, как на ваш взгляд, Горди.

Он спиной почувствовал, как собеседник рассматривает его из-под своих полуопущенных припухших век.

— Пожалуйста, если хочешь. Пригласи их, и дело с концом.

Забилось ли у него сердце? Пожалуй, нет; но ему стало тепло и приятно, и он сказал:

— Спасибо, Горди. Честное слово, это ужасно мило с вашей стороны, — и снова вернулся к молитвеннику. Теперь он мог уже кое-что понять. Одни места казались ему прекрасными, другие — странными. Насчет повиновения, например. Если любишь человека, то просто подло требовать от него повиновения. Если ты любишь и тебя любят, то и вопроса нет ни о каком повиновении, потому что вы оба все будете делать по собственной воле. А если не любишь или тебя не любят, тогда — Господи! — что может быть отвратительнее, чем жить с человеком не любя или если он тебя не любит! Но она-то, уж конечно, не любит старика Стормера. А раньше? Неужели когда-то она его любила? Марк отчетливо представил себе ясные скептические глаза, рот, искривленный в нарочито насмешливой улыбке. Нет, такого нельзя полюбить. А ведь он безусловно хороший человек. И в груди у юноши возникло нечто вроде жалости, почти нежности к отсутствующему учителю. Странно, что он испытывает сейчас подобные чувства, ведь когда они последний раз разговаривали там на террасе, он не чувствовал ничего такого.

Звук опущенной крышки бюро нарушил его задумчивость; мистер Хезерли убрал коробок с искусственными мухами, а это означало, что он собирается на речку удить. Как только за ним захлопнулась дверь, Марк вскочил, снова поднял крышку бюро и принялся сочинять письмо. Это была трудная работа.

«Дорогая миссис Стормер!

Мой опекун поручил мне передать Вам, что мы очень просим Вас и мистера Стормера приехать к нам погостить сразу же, как Вы вернетесь в Англию из Тироля. Передайте, пожалуйста, мистеру Стормеру, что лишь искуснейшие из рыболовов — вроде него — способны ловить нашу форель; остальным достаются только ветки деревьев. Вот это я поймал дерево (здесь следовал рисунок). Свадьба моей

сестры завтра, и здесь станет ужасно тоскливо, если только Вы не приедете. Так что, пожалуйста, приезжайте непременно. Примите мои наилучшие пожелания.

Остаюсь Ваш покорный слуга

М. Леннан».

Налепив на это творение марку и опустив его в почтовый ящик, он ощутил весьма странное чувство — точно он вырвался на каникулы из школы. Хотелось носиться вокруг дома, шалить. Что бы такое сделать? Сесили, конечно, не до него — всем им не до него: заняты приготовлениями к свадьбе. Пожалуй, он пойдет оседлает Болеро, покатается в парке. Или лучше пройтись по берегу реки, посмотреть на соек? Все как-то одиноко. Он понуро остановился у окна. Когда ему было лет пять, он однажды сказал на прогулке своей няне: «Мне хочется печенья, няня, мне *неотступно* хочется печенья!» — и в общем-то это у него и по сей день осталось: ему по-прежнему неотступно хочется печенья.

Потом он подумал, не заняться ли лепкой, и пошел через сад к старой пустой теплице, в которой издавна хранились его шедевры. Но сейчас они показались ему никуда не годными, а два из них — индюка и барана — он тут же решил уничтожить. Потом ему пришло в голову попытаться вылепить того ястреба, взмывающего ввысь с кроликом в когтях; он начал, но вдохновение не пришло, он побросал все и вышел. Бегом помчался по заросшей дорожке к теннисному корту — в то время теннис только входил в моду. Трава была густая, слишком высокая. Но ведь в этом старинном поместье все теперь было запущено, а почему — никто бы не смог объяснить, да никому и дела не было. Пока он разглядывал корт, ему послышалось, что рядом кто-то негромко напевает. Он взобрался на ограду: на лугу сидела Сильвия и плела венки из жимолости. Он замер и слушал. Она была увлечена своим занятием и казалась очень красивой. Потом он соскочил вниз и негромко окликнул ее.

Она обернулась, глаза у нее были раскрыты широко-широко.

— У вас славный голос, Сильвия.

— Ну, что вы!

— Правда. Пошли залезем на дерево.

— А где?

— Да в парке, конечно.

Они долго выбирали подходящее дерево: на одни было слишком легко взобраться ему, на другие — слишком трудно ей; наконец нашли старинный развесистый дуб с грачиными гнездами. Марку пришлось сбегать в дом за веревкой, так как он убедил Сильвию, что лезть можно только в связке. И ровно в четыре начался подъем, который он назвал «Восхождением на Чимоне-делла-Пала». Возглавлял отважную экспедицию он, зацепляя каждый раз веревку за сук, прежде чем позволить своей спутнице сделать следующий шаг. Раза два или три веревку пришлось закрепить, а самому спуститься на подмогу: ведь она неопытный альпинист. Руки у нее были слабые, и она все время норовила сесть на сук верхом, когда надо было упереться одной ногой. Но вот наконец восхождение закончено, и они, обсыпанные мхом, сидят на предпоследнем суку. Они молча отдыхали, слушая, как возмущенно кричат потревоженные грачи. Помимо грачиного стихающего негодования, ничто здесь не нарушало чудесного покоя и отрешенности — они были на полпути к синему небу, и оно просвечивало над ними сквозь колышущийся шатер зелено-бурой листвы. Стоило чуть тронуть рукой или ногой кору ствола, и воздух наполнялся горьковатым запахом сухого мха, каким обычно пахнут старые дубы. Земля внизу скрылась из глаз, и со всех сторон загромождали вид другие корявые деревья.

Марк сказал:

— Если просидеть тут дотемна, то можно увидеть сов.

— Ой, не надо! Совы такие отвратительные!

— Что? Совы очень хороши, особенно белые.

— У них такие глаза — бр-р! И они как-то пищат во время охоты.

— Очень даже мило пищат. А глаза у них какие красивые!

— Они ловят мышей, и цыпляют, и вообще всех маленьких.

— Но ведь они же не со зла; они их ловят, чтобы есть. А верно, ночью все красивее, да?

Она просунула руку ему под локоть.

— Нет, я темноты не люблю.

— Отчего же? Ведь это великолепно: все становится таким таинственным. — Он произнес последнее слово с особым чувством.

— Я не люблю таинственного. Мне от него страшно.

— Да что вы, Сильвия!

— Да. А вот равнее утро я люблю. Особенно весной, когда только лопаются почки.

— Ну, конечно.

Она чуть заметно к нему прислонилась, наверно, побаивалась упасть; тогда он вытянул руку и ухватился сзади за сук так, чтобы для нее получилась удобная спинка. Они помолчали. Потом он сказал:

— Вы какое бы дерево выбрали, если бы вам предложили только одно какое-нибудь?

— Только не дуб. Липу... нет, березу! А вы?

Он задумался. На свете столько прекрасных деревьев! Конечно, липы, березы; но и бук, и кипарис, и тис, и кедр — тоже; и еще платаны; и вдруг сказал:

— Сосну. Знаете, такие высокие сосны с рыжими стволами и с ветками на самом верху.

— Почему?

Он снова задумался. Ему очень хотелось правильно объяснить ей, почему именно сосну; это было связано вообще со всеми его ощущениями. Пока он размышлял, она глядела на него, словно удивлялась, что человек может так глубоко задуматься. Наконец он сказал:

— Потому что они сами по себе, всегда величественные, всегда немного теплые, и верхушки у них будто о чем-то думают, но главным образом еще потому, что те, какие как раз мне нравятся, всегда встречаются в одиночку. Знаете, стоит такое дерево в стороне, могучее, темное на фоне неба.

— Они слишком уж темные.

Он вдруг спохватился, что забыл про лиственницы. Конечно, и они тоже бывают божественно хороши, когда лежишь под ними и смотришь в небо, как тогда. Но тут она сказала:

— А если цветок, то я выбираю ландыши, но только не садовые, а маленькие — те, что растут в лесу и так чудесно пахнут.

Перед ним мелькнуло видение другого цветка — темного, иного. Он промолчал.

— А вы бы что выбрали, Марк? — В ее голосе послышалась обида. — Вы ведь сейчас тоже задумали цветок, да?

Он честно ответил:

— Да.

— Какой же?

— Вам не понравится: он тоже слишком темный.

— Но вы ведь не знаете...

— Красную гвоздику.

— Отчего ж... они мне нравятся... только не очень.

Он серьезно кивнул.

— Я так и знал.

Потом они надолго замолчали. Она перестала опираться на него, и ему недоставало уютной дружественности ее прикосновения. Теперь, когда смолкли их голоса и грачиный грей, в тишине слышен был лишь сухой шелест листьев да за речкой над каменистым косогором жалобный крик коршуна, занятого охотой. Там всегда парили два коршуна, поделив между собою небо. Юноше по душе была эта тишь: чудилось, будто сама природа говорит с тобою — ведь природа всегда говорит в тишине. Животные, птицы, насекомые показываются по-настоящему, только когда молчишь и не двигаешься; и с цветами, с растениями тоже нужна тишина, иначе ты не увидишь ту настоящую, прекрасную жизнь, что заключена в каждом из них в отдельности. Даже валуны в парке, о которых старик Годден говорил, что их принесло сюда потопом, даже и они не покажут тебе своих настоящих причудливых очертаний и не дадут тебе почувствовать твое родство с ними, пока не забудешь обо всем остальном и не станешь думать только о них. А Сильвия оказалась лучше, чем он предполагал. Она могла сидеть молча и не шевелиться (он считал раньше, что девочки в этом отношении безнадежны); она милая, и смотреть на нее приятно.

Сквозь листву к ним донесся слабый, отдаленный звон колокольчика — звали к чаю. Она оказала:

— Надо спускаться.

Тут было так хорошо, что, право же, не хотелось уходить домой. Но раз уж ей непременно хочется чаю... девочкам всегда хочется чаю. И, закрутив веревку вокруг сука, он начал руководить ее спуском. Но когда он уже готов был соскочить к ней, она вдруг вскрикнула:

— Ой, Марк! Я не достаю ногами! Я повисла!

И он увидел, что она и в самом деле висит — на веревке и на руках.

— Отпустите руки! Прыгайте на нижний сук, веревка выдержит, пока вы не схватитесь за ствол.

Но снизу донеслось жалобное:

— Не могу... нет, не могу... я не удержусь!

Он закрепил веревку и поспешно соскользнул на тот сук, до которого не доставали ее ноги; потом, прислонившись спиной к стволу, обхватил ее за талию и за колени; но теперь ее держала привязанная наверху веревка, не давая ей опуститься и стать рядом с ним. Он не мог держать ее и одновременно отвязать веревку, туго затянутую вокруг ее пояса. А если он ее отпустит и вытащит свой нож, ему ни за что не удастся перерезать веревку и в то же время подхватить девушку. Он уже подумал было, что придется снова лезть вверх и освободить там веревку, но по лицу Сильвии было видно, что ей становится страшно; он чувствовал, что она дрожит.

— Я сейчас вас приподыму, а вы ухватитесь за верхнюю ветку, можете? — И, не дожидаясь ответа, он приподнял ее повыше. Она изо всех сил вцепилась в ветку.

— Подержитесь одну минуточку.

Она не ответила, но он видел, что лицо ее стало совсем белым. Он выхватил нож и перерезал веревку. Сильвия продержалась еще какое-то мгновение, потом руки ее разжались, но он подхватил ее и поставил рядом с собой у ствола. Почувствовав себя в безопасности, она уткнулась лицом ему в плечо. И он стал гладить ее и тихонько что-то приговаривать, чувствуя, что ему так и полагается утешать и защищать ее. Он знал, что она плачет, хотя она даже не всхлипнула, и он старался, как мог, ничем не обнаружить, что он это знает, чтобы ей не стало стыдно. Может быть, поцеловать ее? Поколебавшись, он так и сделал — тихонько поцеловал ее в макушку. Тут она подняла голову и сказала, что ей стыдно за свое малодушие. И тогда он поцеловал ее еще раз — в висок.

После этого она как будто успокоилась, и они с великими предосторожностями спустились наконец на землю, где на папоротники уже ложились длинные тени и косые лучи солнца били прямо в глаза.

Поздно вечером после свадьбы сестры Марк стоял у окна своей старой спальни-мансарды, в которой одна стенка была покатая и слабо, но явственно пахло мышами. Он стоял усталый, взбудораженный, голова его была полна видений. Он впервые в жизни присутствовал при венчании, и теперь перед ним неотступно маячила грациозная белая фигурка сестры и лицо с сияющими, как звезды, глазами. Уехала — больше она ему уже не принадлежит! Как страшно звучал Свадебный Марш на этом старом, сиплом органе! А проповедь какова! Когда хочется плакать, то не очень-то приятно слушать такое. Даже у Горди вид был подавленный, когда он вручал Сесили жениху. Марк и сейчас с совершенной ясностью видел их всех у алтаря, словно и сам там находился. Вот Сесиль вся в белом, Сильвия в чем-то воздушно-сером; вот невозмутимая высокая фигура новобрачного; Горди, такой необычный в черном фраке, но глаза, как всегда, полузакрыты на изжелта-бледном лице. Неприятнее всего было то, что хотелось просто отдаться своим переживаниям, а вместо этого надо было думать о кольце, о перчатках и расстегнута ли, как надлежит, нижняя пуговица на твоём белом жилете. Вот девушки, они как-то умеют сочетать и то и это — Сесили все время словно видела перед собой что-то прекрасное, и Сильвия была просто в экстазе. Его же постоянно отвлекал голос священника, раздражала та заученность, с какой он все проделывал и говорил, словно выписывал рецепт на лекарство и объяснял, как его принимать. И все же церемония эта была по-своему довольно красива: все лица повернуты в одну сторону, стоит торжественная тишина — только старый Годден громко сморкается в огромный красный платок — и мягкий сумрак клубится под сводами и в боковых приделах, а с южной стороны в окнах играет яркий солнечный свет. Но все равно, куда лучше было бы, если б они просто сами взяли за руки и выразили Богу все, что чувствуют они в сердце своем, ведь Бог — всюду, во всем, а не только в этих душных храмах. Он, Марк, хотел бы венчаться только так — вот в такую же звездную ночь, под открытым небом, чтобы чувствовать, как все прекрасно и удивительно вокруг. Уж, конечно, Бог не так мал, как люди его себе всегда представляют,

словно он просто какой-то важный человек, чуть побольше ростом, чем прочие! Самые прекрасные, удивительные или чудовищные вещи, какие только может представить себе человек, покажутся ничтожными Богу, которому храм — эта ночь. Но только сам с собой ведь не обвенчаешься, а ни одна девушка на свете не согласится выйти замуж без всех этих колец, цветов, нарядов и слов, от которых все становится таким маленьким и домашним. Разве только Сесили, но и она бы не согласилась, чтобы не огорчать других; а Сильвия — Сильвия никогда, — она бы побоялась. Но ведь она еще совсем ребенок! Нить его дум нарушилась, и они рассыпались, точно разорванные бусы.

Он лег грудью на подоконник, положил подбородок на руки и глубоко вдохнул свежий ночной воздух. Жимолостью пахнет, или это все еще лилии? На небе высыпали звезды, и что-то сегодня сов много летает! Четыре, по меньшей мере. Что за ночь была бы без сов и звезд? Но в том-то вся хитрость, что мы ничего не можем представить себе не таким, и не так, как в данную минуту. И что будет дальше, мы тоже не знаем; но когда это наступает, то кажется, что ничего другого и быть не могло. Как странно — ты можешь делать все, что тебе захочется, но когда сделаешь, оказывается, что именно это ты и должен был сделать... А что это за свет там, внизу слева? Чье это окно — старушки Тринг? Нет, это маленькая комнатка для гостей... а-а, там Сильвия! Значит, она не спит! Он свесился как мог за окно и тихо окликнул ее голосом, который она назвала пуховым: «Сильвия!»

Свет заколебался, и в окне появилась ее голова. Лицо, обрамленное распущенными волосами, обратилось к нему. Он лишь наполовину различал его, а наполовину воображал его себе, — таинственное, смутное. И шепотом спросил:

— Как чудесно, да?

— Изумительно, — донесся ответный шепот.

— Отчего вы не спите?

— Не хочется. А вам?

— Ни капельки. Слышите, как совы кричат?

— Конечно, слышу.

— А пахнет-то как!

— Замечательно. Вы меня видите?

— Чуть-чуть. А вы меня?

— Мне не видно вашего носа. Принести свечку?

— Нет, нет. Вы все испортите. На чем вы сидите?

— На подоконнике.

— У вас так шея заболит.

— Н-нет, ничего.

— Хотите есть?

— Да.

— Подождите секундочку. Я спущу вам шоколаду в полотенце — оно длинное, как раз достанет. Держите!

Из окна высунулась смутно различимая белая рука.

— Поймали? Послушайте, а вы не простудитесь?

— Да нет.

— Так красиво, что просто невозможно спать!

— Марк!

— Что?

— Вы какую звезду выбираете? Моя — вон та белая, над большим кленом.

— А моя — вон та, что мерцает красным, во-он, над беседкой! Сильвия!

— Что?

— Ловите!

— Ой! Я не смогла — что это было?

— Ничего.

— Нет, правда. Что?

— Ничего. Просто моя звезда. Она запуталась у вас в волосах.

— О!

— Слушайте!

Стало тихо, потом послышался ее испуганный шепот:

— Что?

И его замирающее:

— Спасайся!

Что это было — окно ли где отворилось? Он внимательно оглядел длинный фасад окутанного сумраком дома. Нигде ни огонька. И белое смутное пятно в ее окне тоже исчезло. Все вокруг было темное, спокойное, напоенное по-прежнему запахом чего-то чудесного. И тут он вдруг увидел, откуда струился этот запах. Под окнами, заслонив стену, рос жасмин, и жасмин был весь в цвету! Звезды, звезды не

только на небе! Быть может, небо на самом деле — это поросший белыми цветами луг; и там гуляет Бог и срывает звезды...

Утром, когда он спустился к завтраку, около его прибора лежало письмо. Но он ведь не мог его вскрыть, сидя вот так, между Сильвией и старушкой Тринг. Потом чуть не со злобой он все-таки разорвал конверт. Напрасно он боялся. Письмо было написано так, что его могли бы прочесть все; там говорилось об еще одном восхождении, о том, что погода испортилась, что они скоро вернуться. Какие чувства испытал он при этом известии — облегчение, беспокойство, радость или всего лишь неясный стыд? Его второго письма она еще не получила. Он ощущал на себе острые, мигающие глаза старушки Тринг и откровенный, внимательный взгляд Сильвии. И чувствуя, как кровь прихлынула к лицу, сказал себе: «Не покраснею!» И не покраснел. Через три дня они будут в Оксфорде. Поедут ли они прямо сюда? Старушка Тринг что-то говорила. Он услышал, как Сильвия ответила: «Нет, мне не нравятся „жевалки“. Они такие каменные!» «Жевалками» они в детстве называли выступающие скулы. У Сильвии, конечно, не было «жевалок», ее щеки плавно закруглялись к глазам.

— А вам, Марк?

Он медленно ответил:

— На некоторых лицах нравятся.

— Люди с таким скулами все имеют железную волю. Правда?

А как же она, Анна, разве у нее железная воля? И он вдруг понял, что ничего о ней не знает.

После завтрака Марк пошел в свою мастерскую-теплицу. На душе у него было неприятно и тяжело. Ах, какой же он негодяй, он почти не думал о ней все это время! Он вытащил из кармана письмо и, нахмуря лоб, старался как мог на нем сосредоточиться. Почему он почти ничего не чувствовал? Да что это с ним в самом деле? Как можно быть таким ничтожеством, чтобы не думать о ней день и ночь? В унынии он долго стоял посреди темной теплицы с письмом в руках, окруженный фигурками своих зверей и птиц.

Потом выбрался оттуда потихоньку и никем не замеченный спустился к реке. Все-таки приятный звук — это ласковое, настойчивое журчание текущей воды; приятно сидеть на камне тихо-тихо и выжидать, чтобы вокруг случались разные вещи. Так человек растворяется в окружающем, становится ветками, и камнями, и водой,

и птицами, и этим небом... И уже не чувствуешь себя таким негодяем. Горди никогда не понимал, почему ему не нравится удить рыбу; а что хорошего, когда одно живое существо ловит другое, вместо того чтобы им рассматривать и понимать друг друга? Сколько ни глядишь в воду, или в траву, или на папоротник, никогда не прискучит: все что-нибудь новое, необычное. И в тебе самом тоже: если сидеть смиренно и внимательнее присмотреться, то страшно интересно все то, что происходит у тебя в душе.

Пошел дождик, тихонько шурша по листьям, но Марку все еще по-мальчишечьи нравилось мокнуть под дождем, и он не сдвинулся со своего камня. Некоторые люди видят фей в чаще леса или в воде, по крайней мере так они говорят. Но ему этого вовсе не хотелось. Вот что в самом деле интересно, так это замечать, как на свете нет ничего одинакового, различать всюду своеобразие; пока не почувствуешь этого — ничего не нарисуешь и не вылепишь. Восхитительно видеть, как твои создания принимают присущие им обличья как бы сами по себе, независимо от твоей воли. Но только этим летом у него ничего не получается, ни на бумаге, ни в глине.

Ярдах в сорока от него села на камень сойка и, красуясь на виду, чистила свои разноцветные перышки. Самые прекрасные на свете создания — это птицы! Он долго смотрел на нее, а когда она вспорхнула и полетела дальше, он проводил ее взглядом за высокую ограду парка. Он слышал, как вдалеке звонили ко второму завтраку, но решил, что не пойдет. Здесь, на дожде, с птицами, с деревьями, он защищен от того неприятного, щемящего чувства, которое он испытал утром. Вернулся он только к семи часам, насквозь промокший и страшно голодный.

За обедом он все время чувствовал, что Сильвия на него смотрит, как будто хочет спросить о чем-то. Она была в белом платье, открывавшем шею, и вся такая нежная, мягкая, а волосы такие светлые, чуть золотистые, как лунный свет. Ему очень хотелось, чтобы она знала, что это не из-за нее он провел один у речки целый день. После обеда, пока раздвигали стол, чтобы играть в «девятку», он тихонько спросил у нее:

— Вы спали сегодня ночью — после?

Она утвердительно закивала.

Дождь теперь припустил всерьез, струи хлестали по стеклам и низвергались в темноте за окном. Марк шепнул:

— Наши звезды сегодня затопит.

— А вы вправду думаете, что у нас есть свои звезды?

— Отчего ж, вполне может быть. Но я за свою не беспокоюсь: она в безопасном месте. Ваши волосы в самом деле очень красивы, Сильвия.

Она поглядела на него удивленно и признательно.

Анна не получила письма Марка в Тироле. Его переслали ей в Оксфорд. Она как раз собиралась уходить, когда его принесли, и она взяла его в руки с тем блаженно-трепетным ужасом, какое испытывает любящий, касаясь письма любимой. Она не стала вскрывать его на улице, а дошла с ним до ближнего колледжа, чтобы там в саду прочитать его под сенью кедра. Коротенькое это письмецо, такое мальчишеское и сухое, вознесло ее чуть не к небесам. Она увидит его теперь же, и не надо будет ждать столько недель до начала нового семестра, когда он возвратится сюда, быть может, уже забыв ее! Муж сегодня за завтраком заметил, что Оксфорд без «милых шутов», безусловно, очарователен, но Оксфорд, «кишащий туристами и прочими инородными телами», столь же безусловно непереносим. Куда бы им пока уехать?

Как удачно, что это письмо вполне можно ему показать! И все-таки ей было больно, что в письме нет ни единого слова, из-за которого нельзя было бы его показывать. И тем не менее она была счастлива. Никогда еще ее любимый сад не казался ей так красив, весь такой приветливый, ухоженный; даже ветру сюда нет доступа, даже птицы здесь совсем ручные. Солнце светит ласково, и даже облака плывут веселые, сверкающие. Она долго сидела там, задумавшись, а потом вернулась домой, забыв обо всех делах, ради которых вышла утром.

Не испытывая недостатка ни в храбрости, ни в решительности, Анна не стала носить это письмо за корсажем и в тот же вечер за столом протянула его мужу, глядя ему прямо в лицо и невозмутимо заметив:

— Как видишь, провидение отвечает на твой вопрос.

Он прочел, поднял брови, улыбнулся и, не отрывая взгляда от бумаги, проговорил:

— Ты хотела бы продолжить это романтическое приключение?

На что он намекал? Или это просто его манера выражаться?

— Разумеется, я хочу очутиться сейчас где угодно, но только не здесь.

— Может быть, ты предпочла бы поехать одна?

Конечно, он сказал это, заранее зная, что она не может ответить «да». И она сказала «нет».

— В таком случае, давай поедem оба. Ну, скажем, в понедельник. Я буду ловить у него форель, ты будешь ловить... э-м-м... он будет ловить... Что он там ловит, деревья? Прекрасно. Стало быть, решено.

И три дня спустя, не обменявшись более ни словом на эту тему, они отправились в Хейл.

Испытывала ли она к нему благодарность? Нет. Боялась его? Нет. Презирала? Не очень. Но она боялась себя — боялась ужасно. Как ей держать себя в руках, как скрыть свою любовь от его домашних? Она боялась собственного безрассудства. Но раз она желает ему всего самого хорошего, что может дать жизнь, значит, у нее должно достать сил не причинить ему вреда. И все-таки она боялась.

Он встречал их на станции. На нем был костюм для верховой езды и очень милая ворсистая куртка с поясом, которой она что-то у него не помнила, хотя думала, что знает наизусть все его вещи; и когда поезд, замедлив ход, остановился, память о последнем мгновении наедине с ним, там, в его комнате, среди чемоданов, которые она помогала ему укладывать, чуть-чуть было не взяла верх над всем остальным. Так бесконечно трудно было холодно, вежливо здороваться, зная, что предстоит, быть может, долгое ожидание, прежде чем удастся хоть на минуту остаться с ним наедине! А он был так вежлив, так изысканно внимателен, так по-хозяйски заботлив: не утомила ли ее дорога? А мистер Стормер не забыл ли захватить свои удочки? Хотя, конечно, здесь их и так сколько угодно; только бы погода была хорошая; а сейчас придется им проехать мили три по проселку, — и хлопотал об их багаже. И все это, когда ей хотелось просто обнять его, откинуть ему волосы со лба и смотреть, смотреть в его лицо!

Он не сел вместе с ними в коляску — опасаясь стеснить их, — а трусил рядом на «скакуне», как назвал ее муж гнедого конька с неподстриженным черным хвостом, и давал пояснения к открывавшимся видам.

Эти живописные места, такие плодородные, но сохранившие что-то от первобытной дикости, с независимыми, гордыми обиталищами фермеров, с темным, приветливым, старым помещичьим домом, являли примечательное зрелище для глаз, привычных лишь к

Оксфорду и Лондону. Они были восхитительны. Восхитительным показался ей даже опекун Марка. Ибо когда судьба вынуждала Горди занимать незнакомую женщину, в нем просыпалась какая-то подкупающая грубоватая галантность. И сестра его, миссис Дун, с ее старомодной благовоспитанностью, тоже оказалась очень приятной.

Оставшись одна в своей комнате, куда ее привела боковая лесенка, Анна стояла и разглядывала кровать с резными деревянными столбиками, широкое окно с частым переплетом и ситцевыми занавесями, цветы в синей вазе. Да, все было восхитительно. И все-таки... Что же было не так? Чего ей не хватало? Ах, глупо об этом думать! Он просто очень хотел поудобнее их устроить и, кроме того, боялся выдать себя. Какие у него были глаза — там, в последние дни! А теперь? Она долго, серьезно размышляла, какое ей надеть платье. Так легко смуглевшая под лучами солнца, она за неделю после отъезда из Тироля успела утратить свой загар. Взгляд у нее сегодня был усталый, лицо бледное. И она не намерена была пренебречь никакими средствами, сулящими помощь. Месяц назад ей исполнилось тридцать шесть, а ему завтра будет девятнадцать! Она остановилась на черном. Она знала, что черное подчеркивает белизну ее шеи и необычный оттенок глаз ее и волос. Никаких украшений не надо. И не приколов даже розы к груди, она взяла белые перчатки и вышла. Муж не зашел за ней, поэтому она поднялась на несколько ступеней и вошла к нему. Его она застала уже одетым к обеду; он стоял у камина и, как обычно, слегка улыбался. О чем он думает, когда стоит вот так и улыбается? Да есть ли кровь у него в жилах?

Он чуть наклонил голову и произнес:

— Превосходно! Непорочность ночи. Черное тебе к лицу. Ну что ж, разыщем дорогу к пиршественным языческим залам?

Они сошли вниз.

Все уже были в сборе. Для ровного счета к обеду был приглашен сосед — местный судья и сквайр, старый холостяк по фамилии Трашем. Наконец доложили, что кушать подано; все вошли в столовую. За круглым, мореного дуба столом, при свечах, под устрашающими портретами почивших предков Анна сидела между Горди и судьей. Марк оказался напротив, между забавной старушкой и молоденькой девушкой в белом, которую Анне не представили, с очень светлыми волосами и очень белой кожей, с яркими синими глазами и

чуть приоткрытым ртом; вероятно, это была дочка поблекшей миссис Дун. Девочка, похожая на серебристую ночную бабочку, на голубенькую незабудку! Анне трудно было от нее оторваться; не потому, что она была красива, хотя, конечно, лицо у нее миловидное, только слабое, с этими приоткрытыми губами, мягким подбородком и каким-то страдальческим взглядом, точно ее синие, ищущие глаза живут своей собственной жизнью. Но она была молода, так молода! Вот почему не глядеть на нее было невозможно. Сильвия Дун? Сильвия... Нежное имя, поэтичное и очень к ней подходит! Всякий раз, как ей удавалось украдкой во время разговора с Горди или со сквайром Трашемом, на которых она явно произвела впечатление, взглянуть в ту сторону, где эта девочка сидела рядом с Марком, и увидеть, как эти два юных существа улыбаются, что-то говоря друг другу, сердце ее сжималось и ныло. Уж не поэтому ли исчезло в его взгляде что-то для нее очень важное? Нет, нет, это просто глупо! Если каждая его знакомая женщина или девочка будет вызывать у нее такое чувство, во что обратится для нее жизнь? И усилием воли она подавила свои страхи. Она сама сейчас выглядит превосходно; она заметила, что девочка тоже невольно заглядывалась на нее, взволнованная, чего-то ищущая и такая непереносимо юная! А он? Анна знала, что медленно, верно, неодолимо, как магнит, притягивает его к себе, видела, что он стал украдкой смотреть в ее сторону. Один раз ей удалось перехватить его взгляд. Какие у него смятенные глаза! В них не было прежнего обожания; и все-таки она чувствовала, что может сделать так, чтобы он ее любил или мучился ревностью, может без труда зажечь его своими поцелуями, если захочет.

Обед медленно подходил к концу. Теперь предстояла минута, когда она и эта девочка очутятся лицом к лицу под взглядами престарелой мамы и зоркой старушки гувернантки. Да, это будет трудная минута. И вот она наступила, эта трудная минута и к тому же долгая, ибо Горди отсиживал за вином весь положенный срок. Но Анна недаром столько лет день за днем жила под взглядами оксфордского света: она сумела быть обаятельной, с интересом слушала, задавала вопросы, с милым акцентом произнося английские слова. Мисс Дун — скоро она была уже Сильвией — непременно должна показать ей все древности и все сокровища. А сейчас не слишком темно, чтобы выйти полюбоваться старым домом снаружи?

Нет, нет, ничуть! В прихожей есть галоши. И они вышли в темноту — впереди Сильвия, неумолчно говорившая о чем-то, чего не слышала идущая за ней Анна, которая целиком была поглощена мыслями о том, как бы ей на минуту, ну, хотя бы на минуту остаться с Марком наедине.

Ничего примечательного в этом старом здании не было, но тут живет он — когда-нибудь, быть может, оно будет принадлежать ему. Дома по вечерам всегда кажутся такими странно живыми с освещенными окнами-глазами.

— Вон мое окно, — говорила девушка, — там, где жасмин, видите? А окно Марка сверху, вон там, под выступающим карнизом, левее. Один раз ночью...

— Что же один раз ночью?

— Да нет, это я так... Слышите? Это сова. У нас их тут страшно много. Марку они нравятся. А мне не очень.

Да у нее Марк с языка не сходит!

— Его вообще ужасно интересуют все животные и птицы: он их ведь лепит. Показать вам его мастерскую? Она у него в старой теплице. Вон там, видите?

За стеклом Анна и в самом деле различила его причудливые творения, сгрудившиеся во тьме на голом полу, — фантастическое сборище маленьких чудовищ. Она сказала:

— Да, вижу, но я лучше не буду смотреть, пока он меня сам сюда не приведет.

— Сюда-то он вас непременно приведет. Для него это самое главное в жизни.

Несмотря на решимость быть предельно осмотрительной, Анна не удержалась и тут же спросила:

— Как? Даже главнее, чем вы?

Девочка взглянула на нее невесело и сказала:

— О, я-то не очень иду в счет.

Анна засмеялась и взяла ее под руку. Какая мягкая, юная рука! И в сердце ее кольнуло — не то ревность, не то раскаяние.

— Вы знаете, что вы прелесть как милы? — спросила она.

Девочка ничего не ответила.

— Вы его кузина?

— Нет. Горди — дядя Марку только по жене. А моя мама — сестра Горди. Так что я ему никто.

Никто!

— Понимаю: то, что называется родственные связи.

Они помолчали, быть может, любуясь ночью. Потом Сильвия сказала:

— Мне ужасно хотелось вас увидеть. Вы не такая, как я думала.

— Да? А какой же вы меня себе представляли?

— Я думала, что у вас будут черные глаза, рыжие волосы, как у венецианки, и что вы не такая высокая. У меня вообще нет фантазии.

Они уже возвращались, когда она сказала это, и свет из дверей упал прямо на нее, освещая всю ее маленькую белую фигурку. Ах, какая она вся юная, и как юно было все, что она говорила!

В ответ Анна чуть слышно сказала:

— И вы тоже... Я не думала, что вы такая.

Только теперь вышли наконец из столовой мужчины: ее муж с выражением лица, сказавшим ей, что он остался доволен тем, как его слушали; сквайр Трашем, смеющийся смехом, характерным для людей без чувства юмора; Горди, отдувающийся, ироничный, и Марк, бледный, задумчивый, будто не ведающий, что происходит вокруг. Он шагнул было к ней, но словно бы раздумал и сел подле старушки гувернантки. Почему он так сделал: побоялся к ней подойти или же просто увидел, что старушка сидит одна? Может быть, и поэтому.

Так прошел этот вечер, совсем иной, чем она рисовала себе в мечтах. Отбыл сквайр Трашем в своей двуколке, запряженной знаменитой кобылой, о чьих достоинствах Анна вдоволь наслышалась за время обеда. Ей дали свечу; она уже пожелала всем спокойной ночи — всем, кроме Марка. Как ей поступить, когда его рука очутится в ее руке? Они будут наедине в этом рукопожатии, силы которого никто не сможет увидеть. Сдавить ли страстно его руку или холодно отпустить? Предъявить ли свои права на него или ждать? Но она не смогла удержаться и лихорадочно сжала его ладонь. В тот же миг на его лице она опять увидела потерянное выражение, как за обедом, и сердце ее мучительно заныло. Она выпустила его руку, и, чтобы не видеть, как он прощается с этой девочкой, повернулась и поднялась к себе.

Не раздеваясь, бросилась она на кровать и так лежала, закрыв рот носовым платком и лихорадочно покусывая его уголки.

День, когда Марку исполнилось девятнадцать, вошел в тумане, медленно совок с себя и уронил на траву серые кисейные покровы и засиял, юный и сверкающий. Марк проснулся чуть свет. Из окна ему видны были в парке, уходящем вверх по склону, лишь округлые синесерые кроны дубов, как бы парящие друг над другом и высокие валуны между ними. Обычно желание лепить с наибольшей силой охватывало его по утрам и еще по вечерам, когда это уже все равно невозможно, потому что темно. И сейчас эта тяга была в нем особенно настойчива, и сознание собственной неумелости особенно угнетало. Его рисунки, его зверушки — все это такое жалкое, непрофессиональное. О, если бы ему сегодня исполнилось не девятнадцать, а двадцать один, если б у него уже были деньги и он мог делать что хотел! Он не остался бы в Англии. Уехал бы в Афины, или в Рим, или хотя бы в Париж и работал бы, пока не почувствовал, что теперь наконец может что-то сделать. А в свободное от учения время уезжал бы изучать зверей и птиц где-нибудь в диком краю, где их много и можно наблюдать их в естественных условиях. Глупо, что приходится сидеть в Оксфорде; но при воспоминании о том, что означает для него быть в Оксфорде, его воспарившая было фантазия, подобно птице при появлении ястреба, затрепетала, замерла в воздухе и кинулась к земле. И тяга творить тут же оставила его. Словно он проснулся утром самим собой, а потом снова самого себя утратил. Он спустился вниз, стараясь не шуметь. Засовы на двери в сад были отодвинуты, даже замок не защелкнут: видно, забыли запереть с вечера. Ох, этот вчерашний вечер! Вот уж не думал он, что будет чувствовать себя так, когда придет она, — томительно, неловко. Точно что-то его к ней тянет, а что-то удерживает. Это злило его, он сердился на себя и чуть ли не на нее. Почему он не может быть просто счастливым, как это счастливое, радостное утро? Он взял бинокль и стал разглядывать луг за рекой. Ну, конечно, вон кролики! Белые ромашки и паутина в росе — все было такое лунное, серебристое, а кролики на лугу делали картину законченно прекрасной. Вот бы добыть одного кролика для модели! Он пошел было за своим старым

духовым ружьем, но потом передумал: от мертвого кролика что проку? К тому же они так весело там скачут! Он положил бинокль и пошел к теплице за своим альбомом. Ему пришло в голову залезть на ограду и оттуда зарисовать кроликов на цветущем лугу — в духе шекспировского «Сна в летнюю ночь». Но в теплице кто-то находился! Кто-то, низко наклонившись, возился с его фигурками. Да кто это посмел? Господи, Сильвия, в халатике! От ярости он похолодел, потом ему стало жарко. В этом святилище он никого не потерпит! Он не выносил даже, когда смотрели на его вещь, а она... она, кажется, их трогает! Рывком отворив дверь, он рявкнул: «Вы что здесь делаете?» И в ослеплении праведного гнева даже не заметил, как она вскрикнула, отшатнулась к стене и, пробежав мимо него, исчезла. Он подошел к своим фигуркам и увидел, что она положила каждой на голову веточку жасмина. Еще недоставало! Какой дурацкий вид! В первую минуту он ни о чем ином не мог думать, кроме этой несуразности; цветы на головах зверей! Потом его тронула искренность этой попытки придумать что-нибудь поэтичное, как-то сделать ему приятно, ибо теперь он осознал, что мастерская украшена в честь его рождения. А еще через секунду он уже ужаснулся тому, что наделал. Бедняжка Сильвия! Какая же он скотина! Она рвала эти цветы, свесившись из окна и рискуя упасть, встала ранехонько поутру и прибежала сюда в халатике, чтобы устроить ему приятный сюрприз. А он что наделал! Ужасно. Теперь, когда было уже поздно, он вдруг с ясностью увидел перед собой ее испуганное бледное личико, дрожащие губы, прижавшуюся к стене фигурку. Какая она была хорошенькая с распущенными, разметавшимися волосами, точно вспугнутая маленькая фея. Он отдал бы сейчас все на свете, чтобы как-то искупить свою жестокость. Покровительственное чувство, которое он всегда к ней немножко испытывал с тех, очевидно, еще времен, когда ему приходилось защищать ее от вымышленных ею быков, чувство признательности за ее неизменное дружелюбие и тепло и еще какое-то другое чувство — все сейчас вдруг достигло мучительной остроты. Во что бы то ни стало надо заслужить ее прощение! Он бегом вернулся в дом и на цыпочках поднялся к ее комнате. Долго прислушивался, но из-за двери не доносилось ни шороха. Тогда он тихонько, ногтем постучался и, приложив губы к замочной скважине, шепотом позвал: «Сильвия!» Он снова и снова повторял ее имя, попробовал даже

нажать ручку двери, думая чуть-чуть приоткрыть ее, но дверь была заперта изнутри. Один раз ему послышалось приглушенное рыдание, и на душе у него стало совсем скверно. Но она не отзывалась, не хотела, чтобы он ее утешил. Он отошел от двери. Он согласен: он заслужил это; но ему очень тяжело. И, совершенно упав духом, он прошел к себе, взял листок бумаги и попробовал написать:

«Милая, дорогая Сильвия!

С вашей стороны было ужасно мило посадить звездочки на моих зверей. Вы это просто замечательно придумали. А я, конечно, ужасный негодяй, но если б я знал, для чего вы пришли в мастерскую, я бы только обрадовался. Ну, пожалуйста, простите меня. Я знаю, что я очень виноват, — но простите меня хотя бы ради моего рождения.

Ваш виноватый

Марк».

С запиской в руках он спустился по лестнице, подсунул ее Сильвии под дверь, стукнул легонько, чтобы она заметила, и ушел. Теперь на душе у него стало полегче, и он снова вышел в сад.

В теплице, усевшись на табурет, он стал раскаянно разглядывать своих венценосных зверушек. Это были овца, индюк, ворона, две голубки, лошадка и еще кое-какие неоконченные фигурки. Сильвия прилепляла им жасмин на головы с помощью крохотного шарика мокрой глины, и он прервал ее, видимо, как раз в ту минуту, когда она пыталась приладить веточку в клюве у голубки, потому что цветок теперь болтался под клювом на тоненькой полоске глины. Он отлепил его и вставил себе в петлицу. Бедняжка Сильвия! Она принимает все так близко к сердцу! Надо сегодня целый день быть к ней особенно внимательным. Покачиваясь на табурете, он глядел на ту стену, к которой она прижималась, и видел мягкую линию ее подбородка и шеи. Странно, что он может представить себе только это — как трепетало ее белое, нежное горло. Это он заставил ее горло так трепетать! Время до завтрака тянулось бесконечно.

Перед завтраком он бродил у лестницы, надеясь, что она спустится первая. Наконец раздались шаги, он спрятался за дверь в

столовую, чтобы при виде его она сразу не повернула обратно, и затаил дыхание. Он уже придумал, что сделать: он преклонит колена, поцелует ей руку и скажет: «Дульцинея из Тобосо — прекраснейшая дама в мире, я же злосчастнейший на земле рыцарь» — любимые слова из любимого «Дон Кихота». Она его тогда обязательно простит, и на сердце у него опять будет легко. Она не стала бы его мучить, если бы знала только, как он страдает. Для этого она слишком нежна и добра. Но увы? По лестнице спускалась не Сильвия; это была Анна, свежая после сна, с зелеными льдистыми глазами и яркими волосами. И, охваченный внезапной антипатией к этой сильной, высокой женщине, Марк стоял и молчал. Так прошла эта их первая минута с глазу на глаз, которую в мечтах он столько раз проводил в ее объятии. Они даже не поцеловались. И сразу же стали один за другим появляться остальные. Но Сильвии не было — миссис Дун сказала, что она лежит с головной болью и сегодня не выйдет. Ее подарок — книга «Сартор Резартус»^[10] с надписью «Марку от Сильвии, 1 августа 1880 года» — лежал на буфете вместе с чеком от Горди, жемчужной булавкой от миссис Дун, «Камнями Венеции»^[11] от старушки Тринг и еще одним пакетиком в папиросной бумаге, содержащим четыре шелковых галстука переходящих тонов — от зеленого в синий и красный, — за вязанием которых скоротали немало часов, мечтая о том, как он их будет носить. Он сумел надлежащим образом выразить свою признательность, но сознавал ли он в тот миг, что вплетено было в это вязание?

Нет.

Дни рождений, как и дни рождества, сотворены для разочарований. Всегда это притворное, заранее расписанное веселье — всегда это дуло к виску: «Веселись, кому говорят!» Как мог он радоваться, когда наверху лежала в своей комнате Сильвия, больная от его грубости! Видение ее белого горла, трепещущего, глотающего свою обиду, преследовало его, словно маленький беленький призрак, всю дорогу, пока они ехали на дальнюю вересковую пустошь, витало перед ним во время пикника и всю долгую дорогу обратно, и поэтому, когда Анна прикасалась к нему или глядела на него, у него не хватало духу ей ответить, он не искал случая побыть с ней наедине, скорее, напротив, избегал этого.

Когда же они снова очутились дома и Анна шепотом спросила:

— В чем дело? Чем я провинилась? — он смог только пробормотать в смущении:

— Ни в чем. Просто я вел себя, как последний негодяй.

Напрасно она пыталась прочесть на его лице объяснение столь загадочному ответу.

— Это из-за моего мужа?

Ну, тут-то он, во всяком случае, мог ответить:

— О, нет, нет!

— Тогда из-за чего же? Скажите!

Они стояли в маленькой прихожей и делали вид, будто разглядывают испокон веков висевшее там старинное родословное древо, вокруг которого со всех сторон изображены были во множестве маленькие дельфинчики и крохотные каравеллы, на всех парусах спешащие в гавань.

— Скажите мне, Марк. Я не хочу страдать!

Что мог он ей сказать, когда он и сам не знал? Он замялся, начал было что-то говорить, но так ничего и не смог из себя выдавить.

— Из-за этой девочки?

Он вздрогнул, отвел глаза и ответил:

— Разумеется, нет.

Она поежилась, словно от холода, и ушла. А он остался и глядел на геральдическое древо с гнетущим, запутанным чувством, в котором смешались стыд, раздражение, жалость, досада, страх. Что же это он сделал, что сказал, что утратил? У него сейчас было такое ощущение, какое мучает человека, когда он сознает, что был недостаточно добр и не совсем искренен, а мог бы быть гораздо добрее, держись он еще чуть менее искренне. Ах, как все у него перепуталось! И на душе было мрачно, по-зимнему беспросветно, словно его уж больше никто на свете не любит.

Потом он вдруг увидел, что рядом с ним стоит его профессор.

— А, друг Леннан! Разглядываем прошлое с высоты неромантичеокого сегодня? Эти старые родословные очень милы. Дельфины особенно хороши.

Нелегко было взять себя в руки и держаться учтиво. Почему старик Стормер всегда так над всем издевается? Он едва сумел ответить:

— Да, сэр. Мне бы хотелось иметь такого дельфинчика.

— На свете много лун, которые нам хотелось бы иметь, Леннан, однако ни одна из них не падает с неба по нашему желанию.

Голос его звучал почти серьезно, и раздражение Марка пропало. Ему было грустно, но почему, он не знал.

— А пока, — услышал он голос профессора, — следует пойти переодеться к обеду.

Когда он спустился в гостиную, Анна в своем лунном платье сидела на диване и болтала... с Сильвией! Он не стал подходить к ним: ведь ни той, ни другой, думал он, это не могло быть приятно. Но ему, плохо знавшему женщин, показалось странным, что она так оживленно разговаривает с Сильвией, когда сама всего лишь полчаса назад спрашивала у него: «Из-за этой девочки?»

За обедом он сидел с ней рядом. И опять ему было непонятно, как она может так безмятежно смеяться рассказам Горди. Тогда, выходит, их разговор шепотом в прихожей ничего не значил? И Сильвия на него не смотрела: он был убежден, что она отводит глаза просто потому, что чувствует, как он на нее смотрит. И в душе у него подымалась обида: в нем все в тот вечер вызывало обиду. Это несправедливо, с ним обращаются, как с отверженным, а за что — неизвестно. Он ведь не хотел их обидеть — ни ту, ни другую. Почему же они хотят во что бы то ни стало причинить ему боль? И тогда он вдруг почувствовал, что для него все это не имеет значения. Пусть себе обращаются с ним, как вздумают, на свете есть еще много другого, помимо любви! Раз они в нем не нуждаются, он в них не нуждается тоже! И со всем увлечением юности он отдался этому новому горькому, хмельному чувству головокружительного безразличия. Но даже и дни рождения имеют конец. И тогда чувства и мысли, представлявшиеся такими важными, растворяются и перестают существовать в небытии сна.

Если для Марка день его рождения был днем смятенных разочарований, то для Анны он был воистину медленной пыткой: ведь для нее не было утешения в мысли, что на свете есть еще много другого, помимо любви. Но утро вернуло ей долю прежней уверенности, открыло ей меру собственного вчерашнего безрассудства, принесло возрожденную надежду. Нет! Не может быть, чтобы за две недели она утратила то, что она так прочно завоевала! Надо только быть решительной. Не отдавать того, что ей принадлежит. Неужели после всех этих пустых лет так и не настанет ее час? Что ж ей, сидеть безропотно и смотреть, как какая-то глупенькая девочка выхватывает у нее из рук то, что принадлежит ей по праву? Нет, тысячу раз нет! И она стала ждать случая. В полдень она видела, как он с удочкой ушел к реке. Теперь надо было немного переждать, пока Горди с управляющим находится возле теннисной площадки. Когда путь освободился, она выскользнула из дому и побежала к воротам парка. Очувтившись в парке, она почувствовала себя в безопасности: муж, она знала, сидит у себя и работает; эта девочка где-то прячется; старая гувернантка занята хозяйственными заботами; миссис Дун пишет письма. Она исполнилась храбрости и надежды. Старый, густой, заросший парк, в котором она еще не бывала, показался ей прекрасным — здесь только и устраивать лесным нимфам свидания с фавнами, среди этих мшистых стволов, в высоких зарослях папоротников между крутыми валунами. Она шла вдоль стены по направлению к речке, но калитки все не было, и она уже стала беспокоиться, что идет не туда. За оградой слышно было журчание, и Анна решила подыскать дерево поудобнее, чтобы можно было на него залезть и как следует оглядеться. Она выбрала старый, развесистый ясень. Вскарabalкалась на развилку и посмотрела через стену. Совсем рядом речка катила свои темные чистые воды под густой завесой листвы. На берегу лежал огромный камень, а на нем другой, почти такой же огромный. И у этого камня стоял Марк, прислонив к нему удочку. А на траве, упершись локтями в колени и положив подбородок на руки, сидела эта девочка и снизу вверх смотрела на него. Какое

оживленное было у него лицо — как непохоже оно было на угрюмое вчерашнее!

— Только и всего. Право же, вы могли бы меня простить, Сильвия!

И Анне вдруг почудилось, что два этих юных лица слились в одно лицо юности!

Гляди она на них хоть всю жизнь, и тогда бы у нее на сердце так не запечатлелось это видение. Видение Весны, видение всего, чего ей уже не вернуть никогда! Сама не зная как, она соскользнула по стволу старого ясеня и, точно раненый зверь, понеслась прочь, спотыкаясь среди камней и кустов. Так она бежала, наверно, с четверть мили, потом вскинула кверху руки и упала на папоротники вниз лицом. Сначала ей так теснило грудь, что она ничего не чувствовала, кроме физической боли. О, если б она могла сейчас умереть! Но она знала, что просто задохнулась от бега. Боль эта скоро прошла, и ту, что пришла ей на смену, Анна тщетно пыталась прогнать, прижимаясь грудью к земле, ломая в пальцах стебли папоротников, — мука непереносимая, страшная пустота в сердце! Юность уходит к юности! Ей его не вернуть. Опять одиночество! Она не плакала: что проку в слезах? Но ее снова и снова захлестывали волны стыда — стыда и ярости. Вот, оказывается, и вся ей цена! Солнце жгло ей спину сквозь папоротники, под которыми она лежала. Она почувствовала слабость, дурноту. Она и сама не знала, как много значила для нее любовь к этому юноше, как крепко была связана с ней вся ее вера в себя, вся ее уходящая молодость. Как горько! Какая-то глупенькая беленькая девочка, молоденькая девочка — и она, Анна, забыта! Но полно, так ли это? Разве не может она еще и сейчас вырвать его и вернуть себе силу страсти, о которой эта девочка ничего не знает? Конечно, о, конечно же, может! Пусть только однажды вкусит он блаженства, которое она может ему подарить! При этой мысли пальцы ее перестали ломать стебли папоротника, и она лежала теперь на земле, неподвижная, как камни вокруг. Разве это невозможно? Разве поздно попытаться даже сейчас? Все чувства покинули ее, остался лишь этот трепет сомнения — она словно застыла в трансе. Зачем она будет щадить эту девочку? К чему колебания? Ведь за ней право первенства. Там, в Тироле, он принадлежал ей. Она и сейчас обладала властью над ним. В тот первый вечер за обедом она сумела привлечь к себе его

взоры, оторвать его от этой девочки, от юности, притянуть его к себе, как магнит притягивает сталь. И сейчас она может связать его узами, которые он — какое-то время, во всяком случае, — сам не захочет разорвать! Связать его? Какое гнусное слово! Завладеть им, когда он так страстно тянется к тому, чего она не может ему дать, — к юности, к белой невинности, к Весне! О, это было бы низко, низко! Она вскочила и бросилась бежать наискось по склону, не глядя, куда ступает, спотыкаясь, кружа в лабиринте валунов и густого кустарника, пока наконец не опустилась, задыхаясь, без сил, на какой-то камень. Она огляделась: парк кончился, и видна была за речной поймой далекая вершина холма, увенчанная лиственницами. Небо высилось над нею ясное, ярко светило солнце. В вышине над холмом, под самой лазурной твердью, парил ястреб. Низость! До этого она никогда не дойдет! Не одурманит его, не опутает его узами чувственности, всем, что в нем есть наименее возвышенного. Ведь она, точно мать, желает ему самого прекрасного, что только может дать жизнь. Ни за что! Это было бы подло. И в миг острейшей душевной муки ей представилось, что те двое там, в лучах солнца у темной воды, защищены, укрыты от нее. Личико девочки — белый цветок, трепетно воздетый кверху; взволнованный взор юноши, устремленный вниз! Как странно, что сердце, которое испытывает такие чувства, может в то же время со всей силой ненавидеть белое лилейное личико и страстно желать, чтобы ее собственные поцелуи убили это оживление в юношеском взгляде. Буря в душе ее медленно утихала. Она молила Бога об одном — чтобы только ничего не ощущать. Что ж, это естественно, что она упустила свой час. Естественно, что жажда ее останется неутоленной, что страсть ее никогда не расцветет; естественно, что юность уходит к юности, что юноша тянется к себе подобным, — так и должно быть по законам самой любви. Ветерок, потянувший с реки, остудил ей щеки и принес еле ощутимое чувство облегчения. Благородство! Что это, пустое слово? Или благородными чувствуют себя те, кто оставил надежду на счастье?

Потом она долго бродила по парку. Был уже вечер, когда она вышла из ворот, в которые входила утром полная надежд. Ей удалось, ни с кем не встретившись, подняться к себе, но она не чувствовала себя в безопасности, пока не разделась и не легла в постель. Главное, чтобы не прошло это ощущение бесконечной, оупляющей усталости,

чтобы духовные и физические силы не возвратились, пока она не окажется вдали от этих мест. Она не будет ни есть, ни пить — только спать, если сумеет. А утром, если есть ранний поезд, можно уехать, пока никто не встал; ее муж должен будет обо всем позаботиться, все устроить. Что он при этом подумает и что она скажет в объяснение, это еще успеется решить. Да и не все ли равно? Главное — это не встречаться больше с Марком, потому что второй раз вынести такую внутреннюю борьбу она не в силах. Она позвонила и сказала удивленной горничной, чтобы та позвала к ней мужа. Но пока она ждала его прихода, гордость в ней возмутилась. Он не должен видеть! Это невозможно! И, встав с постели, она успела положить себе на лоб платок, смоченный одеколоном. Он явился сразу же, быстрыми бесшумными шагами вошел в комнату и остановился, глядя на нее. Не заговаривал, не спрашивал, что случилось, а просто стоял и ждал. И, как никогда прежде, ясно она поняла, что он как бы начинается там, где кончается она, начинается на том уровне, откуда, как нечто святотатственное, безжалостно изгнаны чувства и инстинкты. Она призвала всю свою храбрость и проговорила:

— Я гуляла в парке, и, наверно, солнце напекло мне голову. Мне хотелось бы завтра же утром уехать домой, если ты не против. Неприятно стеснять чужих людей.

Кажется, на его лице мелькнула улыбка, но оно сразу же сделалось серьезным.

— О, — сказал он, — разумеется. Последствия небольшого солнечного удара сказываются несколько дней. Но сможешь ли ты перенести дорогу?

И внезапно она почувствовала, что он понимает все, но, что поскольку все понимать значит для него чувствовать себя смешным, он заставляет себя верить, что ничего не знает. Благородно это с его стороны или отвратительно?

Она закрыла глаза и сказала:

— У меня сильная головная боль, но все равно я доеду. Только мне бы не хотелось подымать тут переполох. Нельзя ли нам уехать, пока они еще будут спать?

И услышала, как он ответил:

— Ну что ж. В этом есть свои преимущества.

Затем стало совершенно тихо, но он, она знала, был еще рядом. Это немое, недвижимое присутствие — отныне вся ее жизнь. Да, да, таково ее будущее — без чувств, без движения. И, несмотря на страх, ей мучительно захотелось взглянуть на это свое будущее. Она открыла глаза. Он стоял на том же месте, в той же позе и смотрел на нее. Но его опущенная рука, как бы за рамой картины, нервно сжималась и разжималась над карманом куртки. И внезапно Анна почувствовала жалость. Не к себе или к своему будущему, воплощенному в этой картине, а к нему. Как страшно стать таким — человеком, изгнавшим чувства, как страшно! И она мягко сказала:

— Мне очень жаль, Харолд.

Словно он услышал что-то странное и недопустимое, глаза его болезненно расширились, он спрятал в карман нервно сжимавшуюся руку, повернулся и вышел.

XVII

Когда Марк нашел Сильвию у большого камня-дольмена, он мог бы удивиться больше, не зная он наверняка, что найдет ее здесь, ибо он видел, как она сюда направилась. Она сидела, поджав ноги, и смотрела на воду, и соломенная шляпка болталась у нее за спиной, открыв солнцу чуть золотящиеся волосы, в которых в ту ночь запуталась его звезда. Он неслышно подошел по траве и немного поодаль решил остановиться. Если ее спугнуть, она убежит, а у него не хватит духу за ней погнаться. Как тихо она сидит, вся охваченная своими думами! Если б увидеть, какое у нее сейчас лицо. Наконец он негромко сказал:

— Сильвия!.. Можно мне побыть тут с вами?

И, видя, что она не шевельнулась, он подошел. Не может быть, чтобы она все еще на него сердилась!

— Большое вам спасибо за подарок — такая красивая книга!

Сильвия не ответила. Он прислонил удочку к камню и вздохнул. Ее молчание было несправедливо; что же, интересно, он должен, по ее мнению, сказать или сделать? Стоит ли жить, право, если вот так все и держать про себя?

— Я ведь не хотел вас обидеть. Я ужасно не люблю никого обижать. Просто мои фигурки такие плохие, я не могу, когда на них смотрят, а особенно вы; я хочу, чтобы вам было приятно, честное слово. Вот. Только и всего. Право же, вы могли бы меня простить, Сильвия!

За оградой послышалось какое-то движение, зашуршали листья, в папоротниках что-то метнулось — олень, должно быть. И он повторил, мягко, настойчиво:

— Право же, вы могли бы не мучить меня, ну, Сильвия!

Она отвернулась и скороговоркой произнесла:

— Теперь уже не в этом дело. Теперь уже совсем другое.

— Другое? Но что же?

— Ничего... просто я теперь не иду в счет... когда...

Он стал возле нее на колени. Что она подразумевала? Но разве он не знал, что?

— Как так вы не идете в счет? Больше всех идете! Ну, пожалуйста, Сильвия, развеселитесь! Я так не люблю, когда грустят! Не грустите же, Сильвия!

И он стал ласково гладить ее по руке. На душе у него было странно, смятенно; ясно понимал он только одно: что не должен ни в чем признаваться. И, словно угадав эту мысль, ее глаза вдруг заглянули ему прямо в душу. Она вырвала несколько травинок и сказала, заплетая их в косичку:

— Теперь она идет в счет.

Вот оно! Нет, он не станет отрицать. Это было бы предательством. Даже если она больше и не идет в счет — да и так ли это? — все равно сказать такое было бы низко, подло. В глазах у него вновь появилось то выражение, из-за которого профессор сравнил его однажды с попавшим в беду львенком.

Сильвия тронула его рукав.

— Марк!

— Что?

— Не надо.

Он встал и взял удочку. Что проку оставаться здесь, когда он не может, не должен говорить?

— Вы уходите?

— Да.

— Вы сердитесь? Ой, пожалуйста, не сердитесь на меня.

Он почувствовал комок в горле, наклонился и поцеловал ее руку, потом вскинул удочку на плечо и зашагал прочь. Оглянувшись на ходу, он видел, что она сидит все так же, под большим камнем, и глядит ему вслед, маленькая, одинокая. У него было такое чувство, что ему некуда сейчас идти, что его место — лишь среди птиц, зверей и деревьев, которым все равно, даже если на душе у тебя смутно и тяжело. Он лег в траву у реки. Видно было, как маленькие форельки выются в воде над камнями; а в воздухе низко над ним носились взад-вперед ласточки; лохматый шершень прилетел и побыл с ним немножко. Но его ничто не развлекало, точно дух его был в заточении. О, если бы стать этой водою, бежать, не останавливаясь, все дальше, дальше; или ветром, что притрагивается ко всему, но никогда никому не дается в руки! Что бы ты ни делал, обязательно причинишь кому-то боль — вот что ужасно. Быть бы, как эти цветы: вырос, прожил свою жизнь сам по

себе — и нет тебя! А сейчас что бы ты ни сказал, ни сделал, все будет либо ложь, либо жестокость. Остается только не показываться никому на глаза. Но как можно не показываться на глаза собственным гостям?

Он вернулся домой ко второму завтраку, но оба гостя отсутствовали, — где они, никто толком не знал. Несчастный, потерянный, обескураженный, слонялся он повсюду до самого вечера. А перед обедом ему сообщили, что миссис Стормер плохо себя чувствует и что завтра они уезжают. Уезжают — не прошло и трех дней! Он еще больше затосковал и растерялся. И окончательно погрузился в унылое безмолвие. Он понимал, что привлекает к себе внимание, но ничего не мог с собой сделать. Несколько раз за время обеда он ловил на себе пытливый взгляд Горди из-под припухших полуопущенных век. Но он просто не мог выговорить ни слова. Все, что приходило ему в голову, было фальшь, ложь. О, как печален был этот вечер, отмеченный неотступным видением чужой душевной раны, за сердце хватающим чувством какого-то конца, не сбывшихся чужих надежд. И вместе с тем непроходящим чувством растерянности, недоумения: «Разве я мог что-нибудь с этим поделать?» И все время — жалобное лицо Сильвии, на которое он изо всех сил старался не смотреть.

Он ушел, оставив Горди и своего профессора за недопитым вином, и долго блуждал по саду, печально слушая, как кричат совы. С облегчением он вздохнул, только когда можно уже было наконец подняться к себе, хотя, разумеется, уснуть он и не мечтал.

Однако он уснул. И спал всю ночь, и видел сны, и под утро ему приснилось, что он лежит на склоне горы и Анна, заглядывая ему в глаза, все ниже наклоняется над ним. Он проснулся, когда ее губы коснулись его губ. Весь еще во власти этого смятенного сновидения, он вдруг осознал, что за окном слышен скрип колес и стук лошадиных подков по гравию. Он выскочил из постели. Так и есть: от крыльца отъезжала коляска, на козлах возвышался старый Годден, возле него — чемоданы и картонки, а в коляске друг против друга сидели Стормеры. Уезжают вот так, даже не попрощавшись! На мгновение он испытал такое чувство, какое бывает, наверно, у человека, неумышленно сделавшегося убийцей: он застыл, совершенно подавленный и несчастный. Но потом с отчаянной торопливостью принялся одеваться. Он не позволит ей так уехать! Он должен во что бы то ни

стало еще раз ее увидеть! Что он сделал, почему она вдруг уезжает? Он ринулся вниз по лестнице. В гостиной никого. Без девятнадцати минут восемь! Поезд отходит в восемь ровно. Довольно ли времени, чтобы оседлать Болеро? Он бегом бросился в конюшню, но лошади там не оказалось: ее увели в кузницу. Но он все равно непременно должен успеть. Тогда она по крайней мере увидит, что он не окончательный подлец. До поворота он шел, потом бросился бежать. Уже через четверть мили на душе у него сделалось гораздо легче, он перестал чувствовать себя таким виноватым и несчастным, — все-таки это совсем другое дело, когда перед тобою трудная задача и все прочее ушло на задний план: надо экономить силы, выбирать на бегу кратчайший путь, держаться теневой стороны, стараться не задохнуться, когда бежишь в гору, и лететь, набирая скорость, когда дорога идет под уклон. Было еще прохладно, и роса прибила пыль; никто не ехал навстречу, и не было пешеходов, которые останавливались бы и глядели ему вслед. Что он сделает, если добежит в срок, как будет объяснять этот сумасшедший трехмильный пробег, — об этом он не думал. Осталась позади ферма, которая, как он знал, находится как раз на полпути. Часы он не взял. Собственно говоря, он успел натянуть только брюки, рубашку и куртку — ни галстука, ни шляпы, ни даже носков под теннисными туфлями на нем не было. От бега он страшно разгорячился, волосы развевались — необычное зрелище для всякого, кто бы ни повстречался по пути. Но он утратил все чувства, кроме воли добежать. С поля на дорогу высыпало стадо овец. Он пробрался между ними, но потерял несколько секунд. Осталось больше мили; а он уже задыхается, и у него вот-вот подкосятся ноги! С горы они, правда, бегут сами собой, но впереди — ровный участок пути, ведущий к станции; и уже слышно, как поезд, неторопливо пыхтя, катит по долине. Тут, усталости вопреки, дух его воспрянул. Нет, он не влетит на перрон совершенным чучелом, в полном изнеможении, на радость зрителям. Надо будет под конец взять себя в руки и войти легким шагом, словно с прогулки, от нечего делать. Но как? Ведь он того и гляди рухнет прямо в пыль и так и останется лежать навеки! И он попытался на бегу, как мог, стереть пот и пыль с лица, отряхнуть одежду. Вон уж и вход на перрон — осталось ярдов двести. Поезда он больше не слышал. Должно быть, стоит уже у платформы. Из его перетруженных легких вырвалось рыдание. Уже у

входа на перрон он услышал свисток кондуктора. И тогда, не подымаясь к кассе, он свернул и побежал вдоль перронной ограды. Там был открыт багажный выход, Марк устремился в него и едва успел отпрянуть в заросли жимолости: мимо медленно двинулся паровоз. Марк провел рукавом по лицу, чтобы смахнуть пот. Перед глазами у него все плыло. Нет, он должен увидеть ее: не для того же он все-таки успел, добежал, чтобы так ее и не увидеть! Он провел ладонями снизу вверх по лбу и волосам и, преодолевая дурноту, стал глядеть на медленно идущий мимо поезд. Вон она, в окне! Стоит и смотрит! Он не выступил вперед, потому что боялся упасть, но протянул руку!.. Она заметила его. Да, да, она заметила! Подаст ли она ему знак? Неужели не подаст? И тут он вдруг увидел, как она рванула платье у себя на груди, выхватила что-то и бросила к его ногам. Он не поднял: он хотел до последнего мгновения видеть ее лицо. Оно было чудесным — бледное и очень гордое. Она поднесла руку к губам. Потом перед глазами у него опять все затуманилось, а когда он пришел в себя, поезда уже не было. Но у ног его осталось то, что она ему бросила.

Он нагнулся, поднял — темный, засохший, на его ладони лежал тот самый цветок, который она в Тироле однажды ему подарила, а потом похитила из его петлицы.

Едва живой, Марк пробрался позади пакгауза на луг и долго лежал там ничком, прижимаясь лбом к сухому, темному цветку, все еще источавшему какой-то свой аромат...

Оказалось, что опекун не зря так внимательно посматривал на него из-под опухших полуопущенных век. Марк не вернулся в Оксфорд. Вместо этого он поехал в Рим — жить в доме сестры и посещать школу ваяния. Так начался период в его жизни, когда, кроме его работы, ничто не шло в счет.

Он дважды писал Анне, но ответа не получил. От профессора же пришло короткое письмо:

«Мой дорогой Леннан!

Итак, Вы покидаете нас для Искусства? Увы. Впрочем, что ж, насколько мне помнится, это Ваша луна, одна из Ваших лун. Достойное светило, слегка запыленное в наши

дни, но для вас, без сомнения, оно — девственная богиня, у
коей лишь края одежд, и т. д.

Вашему отступничеству вопреки мы сохраним о Вас
самые дружественный воспоминания.

Некогда Ваш наставник и по-прежнему Ваш друг

Харолд Стормер».

С того лета прошло много, очень много времени, прежде чем он
снова увидел Сильвию.

ЧАСТЬ II
ЛЕТО

Сияние тысячи огней; говор и бормотание несчетных голосов, смех, шарканье ног по плитам тротуаров; свист и грохот стремительных поездов, увозящих игроков назад в Ниццу, в Ментону; отчаянное пиликанье четверки смуглокожих бледных скрипачей у входа в кафе; и над всем, отовсюду, со всех сторон — темное небо, и темные горы, и темное море, точно гигантский темный цветок, в чью сердцевину впился переливающийся всеми красками жук. Таким было Монте-Карло в эту майскую ночь 1887 года.

Но Марк Леннан, сидевший за мраморным столиком, был слишком во власти обуревавших его чувств и восторгов, чтобы замечать этот блеск и сутолоку и даже эту красоту. Он сидел так неподвижно, что соседи по столику с той естественной неприязнью, какую всегда вызывает у представителей рода человеческого все, что слишком отличается от их собственного настроения, раз поглядев на него, спешили отвести глаза, словно от чего-то несуразного, даже возмутительного.

А он был поглощен воспоминаниями о только что пережитых мгновениях. Ибо оно пришло наконец после стольких недель томительного ожидания, после всего этого странного смятенного времени.

Оно подкрадывалось к нему незаметно с самой той случайной встречи почти год назад, когда он только что возвратился в Лондон после шести лет жизни в Риме и в Париже. Сначала это было просто дружеское расположение, потому что она с интересом отнеслась к его работе; потом почтительное поклонение, ибо она была прекрасна; потом сострадание, так как она была несчастлива в замужестве. Будь она счастлива, он бы бежал, уехал. Сознание, что она страдала еще задолго до того, как появился он, успокаивало его совесть. И вот наконец однажды она сказала: «Ах, если бы вы тоже могли туда приехать!» Как чудесно, как тонко было воздействие этого одного случайно сорвавшегося признания на всю его душу, словно раз прозвучав, оно обрело собственную жизнь, как сказочная птица, что залетела в сад его сердца и поселилась в нем со своей незнакомой

песней, с трепыханием крыл и горним полетом и со своим тоскливым, день ото дня все более настойчивым зовом! Это, и еще одно мгновение, несколько дней спустя, когда у нее в гостиной он сказал ей, что едет тоже, а она, он чувствовал, не смогла, не отважилась поднять на него глаза. Как странно, ведь ничего значительного не было сказано, сделано или не сделано, а между тем все будущее оказалось перевернутым!

Потом она уехала — с теткой и дядей, под чьим крылышком с ней заведомо не должно было произойти ничего непредусмотренного и экзотического. И он получил от нее такое письмо:

«Монте-Карло.

Отель „Золотое Сердце“.

Дорогой Марк!

Мы приехали. Приятно очутиться на солнышке. Здесь чудесные цветы. Я откладываю Горбию и Рокбрюн до Вашего приезда.

Ваш друг

Олив Крэмьер».

Письмо это осталось у него единственным отчетливым воспоминанием от тех дней, которые прошли между ее отъездом и его собственным. Оно пришло днем, когда он сидел на низкой садовой ограде и весеннее солнце сияло сквозь ветки яблонь в цвету, и у него было такое чувство, будто все счастье мира лежало перед ним и стоило лишь протянуть руки, чтобы заключить ее в свои объятия.

После этого — что-то туманное, беспокойное, все, как в дымке, пока в конце путешествия он не ступил на перрон Болье, чувствуя, как отчаянно колотится у него сердце. Но почему? Неужели он ждал, что она приедет из Монте-Карло его встречать?

С тех пор в одном неослабном стремлении быть подле нее и не показать другим, как это для него важно, прошла неделя; два концерта, две прогулки с нею наедине, когда, что бы он ни говорил, все

оставалось не сказано, и все, что бы она ни отвечала, было лишь отзвуком того, что он жаждал услышать; неделя смятения чувств, семь дней и семь ночей, пока сегодня, вот только что, она не обронила на пыльную дорогу свой платок, а он поднял его и прижал к губам. Теперь ничто не отнимет у него взгляда, которым она на него посмотрела. Ничто на свете не сможет отныне сделать их чужими. Этим взглядом она призналась в той же сладостной, робкой беде, что теснила и его грудь. Она ничего не сказала, но он видел, как приоткрылись ее губы, как вздымалась и опускалась грудь. Он тоже ничего не сказал. Зачем слова?

Он засунул руку в карман. Там, у него под пальцами, лежал комочек кружев и батиста, мягчайший и словно бы живой. Он украдкой вынул его из кармана. Будто сама она, благоуханная, коснулась его лица в этом прикосновении батистовой каймы с белыми жесткими звездочками. Осторожно, чтобы никто не заметил, он положил платок в карман и впервые огляделся. О, эти люди! Они принадлежат к миру, который он покинул. Они вызывали у него такое же чувство, как ее тетка с дядей, когда они только что прощались с ним, чтобы вместе с нею скрыться в подъезде гостиницы. Любезный полковник и милейшая миссис Эркотт! Подлинное воплощение того мира, который его взрастил, воплощение британского взгляда на вещи; две символические фигуры здоровья, разума и прямого пути, с которого он-то как раз теперь свернул. Лицо полковника в профиль, красное сквозь загар, с седыми, не знающими ни воска, ни фабры усами, его высокий жизнерадостный голос: «Доброй ночи, Леннан!» Изысканная улыбка его жены, ровные, уверенные, тусклые ее интонации — как далеко, как чуждо ему теперь все это стало! И вот эти люди, которые пьют и болтают здесь, — до чего они странны, до чего ему чужды! Или это он чужд и странен им?

И, встав из-за столика, он мимо смуглокожих бледных скрипачей вышел на площадь.

II

По узкому переулку он подошел к ее гостинице и остановился у решетчатой ограды сада — одного из тех садов, которые существуют при гостиницах лишь для упоминания в проспектах: несколько худосочных пальм, зияющие белые дорожки между ними, а по краю — пыльные кусты сирени и мимозы.

И вдруг его посетило странное чувство — ему показалось, что он уже был здесь, вот так же стоял и смотрел сквозь цветы на зияющие дорожки и на закрытые ставни. В воздухе стоял запах древесного дыма, и какое-то сухое растение еле слышно шелестело на чуть заметном ветерке. Что связано было в его памяти с этой ночью, с этим садом? Что-то темное, ароматное, невидимое, ощутить чье присутствие значило одновременно испытать и блаженство и жгучую жажду, которой нет утоления.

Он пошел дальше. Все дома, дома! Наконец он оставил их позади и шагнул один по шоссе, уже за пределами Монако. Он шел сквозь ночь, обуреваемый чувствами, каких, думалось ему, не переживал до него ни один человек. Сознание, что она его любит, породило в нем чувство благоговения и ответственности. Как бы он ни поступал, главное — не причинить вреда ей. Женщины так беззащитны!

Несмотря на шесть лет пребывания в Париже и в Риме, он сохранил целомудренное благоговение перед женщинами. Если бы она любила своего мужа, от него она была бы ограждена; но быть вынужденной делить жизнь с мужем, который ей неприятен, — это вызывало его негодование еще до того, как он ее полюбил. Как может человек требовать подобного? Как можно иметь так мало гордости, так мало сострадания? Это непростительно. Что можно уважать в таком браке? Только бы не причинить ей вреда! Но теперь, когда ее глаза сказали: «Я люблю тебя!»... Что же теперь? Разве не чудо — сознавать это здесь, под звездами теплой южной ночи, воскуряющей фимиам деревьев и цветов!

Он взобрался на склон над дорогой и лег там. О, если бы она была сейчас рядом с ним! Благоухание неостывшей земли наполнило его ноздри; и на одно мгновение ему почудилось, что она и вправду рядом.

О, если бы удержать ее навеки подле себя в этом объятии, которого не было, в этом призрачном блаженстве, на этой дикой благоуханной постели, которую никогда еще не мяли любовники, — только кузнечики и цветы; только солнечный луч и лунный и отброшенные ими тени; только ветер, целующий землю!.. Но она исчезла. Его ладони нащупали лишь ломкие, сухие сосновые иглы да спящий цвет дикого тимьяна на откосе.

Он стоял у обрыва над дорогой, тянувшейся между темными горами и черным от глубины морем, — слишком уж запоздалый путник, чтобы ждать встречи хоть с одним прохожим, и такой далекий от мыслей и дел человеческих, как сама эта теплом дышащая ночь. Снова и снова рисовал он перед собой ее лицо: глаза, ясные, карие, широко расставленные; плотно сомкнутые милые губы, темные волосы — всю ее окрыленную прелесть.

Потом он спрыгнул на дорогу и побежал — не идти же просто шагом, когда на твою долю выпало чудо, до тебя никем не изведенное, — чудо любви.

III

В номере респектабельнейшего отеля «Золотое Сердце», с тех пор давно уже перестроенного и переименованного, миссис Эркотт лежала в своей кровати с бронзовыми спинками и при свете звезд смотрела на полковника, лежавшего на другой кровати с бронзовыми спинками. Уши ее намеренно не касались подушки, ибо, кажется, она услышала комара. Вот уже тридцать лет верная спутница человека, чья жизнь вся была размечена лихорадящим вниманием этих крохотных тварей, она их очень не любила. В этом — и, быть может, только в этом — воображение ее оказывалось сильнее, чем ее здравый смысл, ибо, вообще-то говоря, никакого комара там не было и быть не могло, поскольку полковник по приезде в любое место, расположенное к югу от 46-й параллели, начинал с того, что распахивал окна во всю ширь и с помощью множества мелких кнопок укреплял поперек этого освежающего пространства противомоскитную сетку, в то время как супруга крепко держала его за фалды. То обстоятельство, что другие так не делают, не смущало полковника, который, будучи настоящим англичанином, любил поступать по-своему, а думать, как другие. После этого они ждали наступления ночи, а тогда зажигали особую горелочку, от которой исходил особый ароматец, и при полном свете газа оба взгромождались на стулья, держа каждый по туфле и не сводя глаз с реально существующих и воображаемых насекомых. Слышались легкие шлепки, оставлявшие следы на стенах, и негромкие возгласы, радостные или плачевные: «Ага, этого я прикончил!», «Ах, Джон, я промахнулась!» А посреди комнаты в пижаме и в очках (надеваемых лишь в наиболее важных случаях жизни и притом на самый кончик носа) стоял и медленно обращался вокруг своей оси полковник, водя взором, издавна и неизменно выражавшим бесстрашие перед лицом смерти, дюйм за дюймом по стенам и потолку, пока наконец удовлетворенно не восклицал: «Ну, Долли, кажется, все». На что она отвечала: «Поцелуй меня, милый!», — и он целовал ее и укладывался в постель.

И потому комара там быть не могло, разве только призрак комара в заботливой душе той, кто была так предана своему мужу. Видя перед

собой его профиль — ибо он лежал на спине, — она не спросила: «Ты спишь, Джон?» Размеренный, прерывистый звук исходил из его носа, которому, от природы прямому, добросовестное выполнение обязанностей солдата придало небольшую горбинку в полудюйме под седыми бровями, приподнятыми, словно они удивлялись этому звуку. Она едва различала его, но все-таки подумала: «Какое у него хорошее лицо!» Так оно и было. Лицо человека, не способного ко злу, во сне светившееся ясностью, какая бывает присуща лишь тому, кто в душе ребенок, кто, не зная, как богата приключениями жизнь духа, искал приключений в бродячей солдатской жизни. Потом она все-таки позвала:

— Джон! Ты не спишь?

Полковник, в ту же секунду очнувшийся, как в старину при тревоге, откликнулся:

— Сплю.

— Бедный молодой человек!

— Который молодой человек?

— Да Марк Леннан. Разве ты не видел?

— Чего?

— Дорогой мой, ведь это было у тебя под носом. Но ты никогда не замечаешь таких вещей.

Полковник медленно повернул голову. Его жена — женщина с фантазиями. И всегда была такой. Он смутно предвидел, что сейчас она произнесет нечто романтическое. Но с той почти профессиональной деликатностью, какая бывает свойственна мужчине, срубившему в свое время немало вражьих голов, он поинтересовался:

— Каких именно?

— Он поднял ее платок.

— Чей?

— Платок Олив. И положил к себе в карман. Я ясно видела.

Наступило молчание, потом снова прозвучал голос миссис Эркотт, отвлеченный, философствующий:

— Одно меня всегда удивляет в молодых людях: как это они воображают, будто никто ничего не видит, бедняжки?

Снова молчание.

— Джон! О чем ты думаешь?

От него исходило теперь не прерывистое, ровное сопение, а ясное и довольно шумное дыхание — верный знак для его жены.

Полковник и в самом деле думал. Долли, конечно, женщина с фантазиями, но что-то подсказывало ему, что на этот раз она вовсе не столь уж далека от истины.

Миссис Эркотт приподнялась на локте. Сейчас у него лицо еще лучше, чем всегда: складка озабоченности поднялась с бровями и разошлась по давно прорезавшим лоб морщинам.

— Я очень люблю Олив, — сказал он.

Миссис Эркотт снова откинулась на подушки. Сердце ее чуть щемило — как раз в меру для женщины за пятьдесят, у мужа которой есть племянница.

— Ну еще бы! — еле слышно пробормотала она.

В душе полковника что-то дрогнуло; он протянул руку. И в темной полосе между кроватями его рука встретилась с другой рукой, которая сжала ее довольно сильно.

— Послушай, дорогая, — сказал полковник, и снова последовало молчание.

Миссис Эркотт тоже думала. Мысли ее были ровны и быстры, как ее голос, но они сопровождались умиленной грустью, которую всегда вызывает у женщин с добрым сердцем умственное напряжение. Бедный молодой человек! Бедняжка Олив! Но надо ли жалеть женщину, которая так хороша собой? И потом в конце-то концов у нее же есть красавец муж, член парламента, человек с будущим и, несомненно, очень ее любящий. И их лондонский дом, у самого Вестминстера, — просто игрушка; а можно ли представить что-либо очаровательнее их загородного домика у реки? Так надо ли жалеть Олив? И все-таки... все-таки ведь она несчастлива. Бесполезно убеждать себя, будто она счастливая жена. Легко говорить, что-де такие вещи в нашей власти, но если хоть иногда читать романы, то ясно, что это не так. Существует же несходство темпераментов. А потом еще эта разница в возрасте! Ей двадцать шесть лет, а Роберту Крэмьеру — сорок два. И вот теперь молодой Марк Леннан влюбился в нее. Что если и она в него влюблена? Тогда Джон, может быть, наконец поймет, что молодость тянется к молодости. Ведь мужчины — даже лучшие из них, как Джон, например, — так смешны! Ей бы и в

голову не пришло испытывать к своим племянникам такие чувства, какие Джон откровенно питал к Олив.

Голос полковника прервал ее размышления:

— Славный молодой человек, этот Леннан! Очень жаль его. Ему надо разом перерубить, если он...

Но тут она неожиданно для себя сказала:

— А если он не может?

— Как это не может?

— Разве ты не слышал про «grande passion»?^[12]

Полковник приподнялся на локте. Опять он убеждался, что за последние годы, пока он служил в Мадрасе и в Верхней Бирме, а здоровье Долли уже не позволяло ей жить в таком жарком климате, она понабралась без него в Лондоне довольно странных взглядов на вещи — словно бы добро было не так уж хорошо, а зло не так плохо, как... как считал он. И, повторив на свой лад эти два французских слова, он сказал:

— А разве я не то же самое говорю? Чем скорее он все порвет, тем лучше.

Но миссис Эркотт тоже села на постели.

— Не будь бесчеловечным, — сказала она.

Полковник испытал то же ощущение, какое бывает у человека, вдруг почувствовавшего, что проглоченную им пищу его желудок усвоить не в состоянии. Оттого что молодой Леннан того и гляди преступит границы порядочности, ему, полковнику, велят не быть бесчеловечным! Право, Долли иногда... В его сознание вдруг вторглось белое пятно ее нового ночного чепца. Уж не заразилась ли она заграничным духом? В ее-то годы!

— Я думаю об Олив, — сказал он. — Я не хочу, чтобы ей досаждали такими вещами.

— Олив, наверное, сама найдет выход. Теперь не принято вмешиваться в такие дела, как любовь.

— Любовь! — буркнул полковник. — Что? Чушь!

Если твоя собственная жена зовет это... вот такое... любовью, для чего же тогда он хранил ей верность все эти годы под горячими небесами? Чувство бесплодности, несправедливости всего начало было подымать в нем голову, чуждое той стороне его натуры, которая придавала определенным словам определенное значение и ставила в

зависимость от этого его поступки. Бунт этот был ему внове и вызывал самые неприятные ощущения. Любовь! Есть слова, которые нельзя применять так свободно. Любовь ведет к браку, а здесь не может быть брака, разве только через... развод, суд. И в темноте перед внутренним взором полковника возник образ его покойного брата Линдсея, отца Олив, — серьезное, изжелта-бледное лицо с ясными чертами в обрамлении черных волос, доставшихся ему, как считалось, по наследству от прапрабабки-француженки, бежавшей из Франции после Варфоломеевской ночи. Он всегда был безукоризнен, брат Линдсей, даже и до того, как стал епископом. Странно как-то, что у него такая дочь, как Олив. Она, разумеется, тоже безукоризненна, вне сомнения. Но в ней есть какая-то мягкость. В Линдсее мягкости не было. Что если бы он увидел, как этот молодой человек кладет платок Олив себе в карман! Да верно ли, что молодой Леннан это сделал? Долли ведь женщина с фантазиями! Может, просто по ошибке, подумал, что это его платок? Понадобится высморкаться, так сразу заметит. Наряду с почти детским чистосердечием полковнику свойствен был настоящий командирский талант, дух подлинной практичности в суждениях; один наглядный пример значил для него больше, чем сто теорий. Долли — страстная любительница развивать всякие теории. Слава Богу, в жизни она ими не руководствуется!

Он ласково сказал:

— Дорогая моя! Молодой Леннан, конечно, скульптор, художник, но ведь он джентльмен! Я знаком со старым Хезерли, его опекуном. И ведь я сам представил его Олив!

— При чем тут это? Он влюблен в нее.

По праву принадлежа к числу людей, чье мировоззрение сводится к ряду взятых на веру истин, в суть и глубь коих они и не думали вдаваться (а имя таким людям — легион), полковник был ошарашен. Подобно туземцу с островка, окруженного бурным морем, на которое он всю жизнь взирал с презрительным ужасом, но ни разу не вошел в его воды, полковник, когда ему предложили оставить твердую почву берега, совершенно растерялся. Да еще кто предложил? Собственная жена.

По совести говоря, миссис Эркотт не хотела заходить так далеко; но в душе у нее, как у всякой женщины, чье воображение более деятельно, чем воображение ее мужа, была какая-то пружинка, всегда

толкая ее дальше, чем она того хотела. И она почувствовала укоры совести, когда услышала, что полковник говорит:

— Я должен встать и выпить воды.

В одно мгновение она вскочила с кровати:

— Ни в коем случае! Сначала надо прокипятить.

Вот, оказывается, как он из-за нее разволновался! Теперь он не уснет — у него так быстро приливает кровь к голове. Будет лежать всю ночь без сна и стараться не потревожить ее. Это так мучительно — она чувствует себя ужасной эгоисткой. Как она не сообразила, что такую серьезную тему опасно обсуждать ночью!

Она почувствовала, что он стоит позади нее; тело его в легкой пижаме казалось особенно худым, лицо как-то странно осунулось.

— И зачем ты натолкнула меня на такие мысли! — проговорил он. — Я люблю Олив.

И снова сердце миссис Эркотт кольнула ревность, которую на этот раз тут же заглушило материнское чувство бездетной женщины к своему мужу. Она не должна его волновать. Ему нельзя волноваться. Она сказала:

— Кипит. Теперь выпей стаканчик, только мелкими глотками, и ложись в постель, не то я сейчас поставлю тебе градусник.

Полковник послушно принял у нее из рук стакан и стал медленно пить, а она стояла рядом и гладила его по голове.

IV

А в комнате под ними та, кто была предметом их спора, тоже лежала без сна. Она понимала, что выдала себя, что открыла Марку Леннану то, в чем до сих пор не признавалась самой себе. Но этот страстный взор, который она, застигнутая врасплох, не желая того, ему подарила, почему-то заставил ее почувствовать, что она безвозвратно преступила какие-то границы, ибо до сих пор мир женщин делился для нее на тех, кто способен бросать мужчинам такие взгляды, и тех, кто этого себе никогда не позволит; и оттого, что она теперь сама не знала, к которой половине принадлежит, ей было страшно. Но что было проку размышлять и бояться? Еще вчера она не знала о том, что это случится, а сегодня не знает, что принесет ей завтрашний день. С нее довольно этой ночи! Этой ночи с разлитым в воздухе очарованием. Довольно, что она может чувствовать, может любить и быть любимой!

Ей было внове это чувство, столь же отличное от того, что испытывала она девушкой, когда за ней ухаживали, и потом в замужестве, как свет отличен от тьмы, ибо она никого еще не любила, даже своего мужа. Теперь она это поняла. Есть, оказывается, солнце в мире, а она-то считала, что солнца нет. Это ни к чему не приведет. Но все-таки солнце сияет, и в его лучах она сможет немного погреться.

И она начала строить планы на оставшиеся шесть дней. Они еще не были ни в Горбио, ни в Кастелларе, не совершили еще ни одной из задуманных пеших или конных прогулок по живописным местам. Придет ли он завтра рано? Куда им завтра поехать? Никто не должен знать, как много дадут ей эти шесть дней, — никто, даже он. Быть с ним, видеть его лицо, слышать его голос и иногда коснуться его руки! Об этом никто не узнает, она может положиться на себя. А потом — потом все кончится! Конечно, они будут и в Лондоне видаться...

Лежа в темноте, она вспоминала, как впервые встретила с ним однажды воскресным утром в Хайд-парке. Полковник свято соблюдал обычай присутствовать на Церковном Параде и всегда готов был из своей квартиры у Найтсбриджа захватить в Вестминстер, если можно было захватить с собою племянницу. И вот однажды, когда они прогуливались по парку, он вдруг остановился перед старым

господином с обрюзгшим, желтоватым лицом и полузакрытыми глазами:

— А, мистер Хезерли! Приехали в Лондон из вашего Девоншира? А как ваш племянник... э-э... скульптор?

Старик посмотрел, как ей показалось, сердито из-под приспущенных век и серого цилиндра и ответил:

— Полковник Эркотт, не так ли? А племянник — вот он сам. Марк!

И какой-то молодой человек поклонился, сняв шляпу. Она сначала заметила его волосы, недлинные, но необычно густые, и глаза, посаженные очень глубоко. Потом он улыбнулся, и она увидела, что лицо его все озарилось, стало взволнованным, но не утратило застенчивого выражения; и тогда она подумала, что он милый. Вскоре после этого она с Эркоттами ездила смотреть его «вещи»: ибо в те дни знакомый скульптор — это был не пустяк, все равно как живая зебра в вашем родовом парке. Оказалось, к вящему восторгу и тайной радости полковника, что почти все «вещи» — это фигурки зверей и птиц. Они были «весьма интересны» для него, хранящего в памяти множество удивительных историй о животных, ибо он немало перестрелял их на своем веку, а под старость вдруг почувствовал, что больше их убивать ему почему-то не хочется, хоть он никогда не выразил этого нежелания словами.

После первого визита в его мастерскую знакомство их быстро развивалось, и теперь настал и ее черед радоваться, что Марк Леннан посвятил себя почти исключительно животным и птицам, а не «божественному» человеческому телу. Да, да, ей было бы неприятно; теперь, когда она его любила, она поняла это. По крайней мере она может следить за его работой, может оказывать ему поддержку своим вниманием. В этом нет ничего дурного.

Наконец она уснула, и ей приснилось, что она одна в лодке на реке против их загородного дома, плывет среди островерхих цветов, похожих на асфодели, а вокруг летают птицы и громко поют. Она застыла, не может шевельнуть ни рукой, ни ногой, но это ощущение беспомощности ей приятно. Постепенно она замечает, что ее несет все ближе к чему-то, что ни суша, ни вода, ни свет, ни тьма, но просто что-то необъяснимое, чего не выразить словами. А потом она увидела, что из камышей на берегу на нее смотрит большая бычья голова. Лодку

несет, и голова движется тоже, она и справа и слева, но это только одна голова. Она хочет поднять руки, заслонить глаза, но не может. Она проснулась с рыданием... Было уже утро.

Без малого шесть часов! После того сновидения страшно было засыпать снова. Впрочем, теперь ей всякий сон был врагом, он отнимал драгоценные минуты от этих шести дней. Она встала и выглянула в окно. Утро было ясное, воздух уже теплый, благоухающий росой и гелиотропом, подвязанным у стены за окном. Стоит лишь распахнуть дверь террасы и можно выйти прямо на солнце. Она оделась, взяла зонтик, осторожно, чтобы не шуметь, открыла створки двери и вышла. Не рискуя оставаться в саду, где прогулка в столь неуточное время могла бы выдать постороннему глазу состояние ее духа, она вышла на улицу и пошла в сторону казино. Сама, быть может, того не замечая, она направлялась туда, где накануне сидела рядом с ним и слушала музыку. Она шла без шляпки, под зонтиком, вызывая восхищение у еще немногочисленных встречных знатоков, спешивших в своих синих блузах на работу; и это простодушное восхищение было ей приятно. Она вдруг ясно ощутила всю грацию своих движений и словно увидела, как прелестно ее живое, нежное лицо, как блестят ее черные волосы и глаза, — это было особенное, на редкость сладкое чувство.

В садах казино она пошла медленнее, с наслаждением вдыхая аромат деревьев в цвету, наклоняясь с восторгом над каждой клумбой, а потом опустилась на скамейку, где вчера сидела вместе с ним. В нескольких шагах от нее начиналась лестница, ведущая к вокзалу, по ступеням которой каждый день и каждую ночь столь многие всходили в трепете предвкушения, а вниз спускались веселые или печальные. Над ее головою две сосны, мастиковое дерево и пальма сплели свои кроны — как причудливо сходятся деревья и души в этом удивительном городке! Она закрыла зонтик и откинулась на спинку скамьи. Взгляд ее, свободный и добрый, скользил от ветки к ветке. На фоне яркого синего неба, не тронутого еще пылью и жарою, ветки сами казались небесными, вытянутые и распластанные в прозрачном воздухе. Она сорвала гроздь розоватых ягод с мастикового дерева, раздавила и растерла между ладонями, чтобы насладиться их ароматом. Вся эта красота, все благоухание вокруг были лишь частью ее радости — радости быть любимой, были частью этого нечаянного

лета в ее сердце. Небо, цветы, огромный кристалл сине-зеленого моря, золотые акации — все это была любовь.

А редкие прохожие, видя ее сидящей так под живописным деревом, дивились, без сомнения, неподвижности этой *dame bien mise*, [\[13\]](#) поднявшейся сегодня так рано.

В предрассветный час, который для бодрствующих тянется так долго, полковник Эркотт проснулся, — история с носовым платком представилась ему еще серьезнее, чем ночью. Муж его племянницы не нравился полковнику: необщительный, в глубине души, возможно, злой и грубый, всегда идущий напролом; но раз Олив находится здесь под их покровительством, мысль о том, что под самым носом у него и его жены в его племянницу влюбился молодой Леннан, сильно тревожила его, человека очень щепетильного. И только когда, поспав еще немного, он опять проснулся, теперь уже в ясном свете утра, его осенила спасительная мысль. Ее надо развлечь. Они с Долли просто нерадивы; занялись этим странным городком, здешней странной публикой! А ей не уделяли внимания, предоставили ее... Ах, мальчики и девочки! Об этом нельзя забывать ни на минуту. Но и сейчас еще не поздно. Она дочь Линдсея, она не может настолько забыть... Бедный старина Линдсей, отличный человек, но только... слишком много в нем было от... от гугенота. Странная это вещь — наследственность. Он еще раньше замечал у лошадей: белое пятнышко над репицей хвоста, по-особому вскинутая голова — пропадут, а через несколько поколений вдруг, глядишь, и снова появятся. Так и у Олив есть во внешности что-то французское, как у Линдсея, — та же смугловатая кожа, тот же цвет глаз и волос! Но в ней нет его суровой твердости... этого в ней не хватает. И полковника опять пронизало неприятное ощущение, смутный страх, что он не оправдал оказанного ему доверия. Впрочем, в ванне это чувство рассеялось.

Не было еще восьми, когда он вышел из гостиницы, худощавый, прямой, в твердой соломенной шляпе и сером фланелевом костюме. Он шел с той неподражаемой непринужденной выправкой, которая отличает старого солдата-англичанина от французских, немецких и всех прочих военных, потому что в ней, в этом безукоризненном развороте плеч, утверждается их неотъемлемое право носить штатскую одежду и выражается их глубокое убеждение в том, что, как там ни говори, а есть только один правильный способ носить эту одежду и передвигать ноги. Он шел, поглаживая седые усы и

соображая, как бы ему лучше взяться за развлечение племянницы. Выйдя на набережную, он остановился и несколько минут глядел на море. Потом двинулся дальше, пошел мимо казино и очутился в саду. Красиво здесь. Сколько заботы вложено в каждый кустик! Напоминает Тушавор, где его приятель раджа — порядочный мошенник! — жил во дворце, окруженном вот таким же садом. Он снова вышел на набережную. Утром здесь, у моря, всегда приятно, тихо, и никто не стремится взять верх над другими. Есть такие люди, которые счастливы только, когда подставят кому-нибудь ножку. Он знал таких, кому сам черт не брат, кто выудить у приятеля фунт-другой считает делом чести. Странное место это «Монте» — сады Эдема навыворот. И вся его подлинная, хотя и не нашедшая выражения в словах, любовь к природе, поддерживавшая его в пустынях и джунглях, не покидавшая его ни на морских транспортах, ни на высокогорных биваках, с новой силой проснулась в нем при виде этих райских куш. Никогда не забудет он, как покойная матушка однажды показала ему, девятилетнему мальчугану, закат за рощей в Уайт-Нортоне и сказала: «Вот это, Джон, и есть красота. Ты ее чувствуешь, милый?» Он, конечно, не чувствовал тогда: он был толстокожим проказливым юнцом. Даже попав в Индию, он еще не понимал прелести закатов. Теперешнее поколение уж не такое. Вон та юная парочка на скамейке под мастиковым деревом, например, — сидят, не говоря ни слова, и смотрят на деревья. Интересно, давно ли они так сидят? И вдруг в груди у полковника что-то рванулось; и в его глазах цвета стали появилось выражение бесстрашия перед лицом смерти. Он кашлянул было, глотнул, резко повернулся к набережной... Олив и этот молодой человек! Тайное свидание! Земля уходила у него из-под ног. Дитя его брата, его любимая племянница! Женщина, которой он так восхищался, к которой он больше всего привязан! Облокотившись на каменный парапет, он не видел ни шелковистой зелени лужаек, ни шелковистой синевы моря за ними: он был взволнован, подавлен, обескуражен сверх всякой меры. До завтрака! Это угнетало его больше всего. Это было как признание во всем. А он к тому же видел, как их руки соприкасались на скамейке. Кровь прихлынула к его лицу; он видел, он подсмотрел то, что не предназначено было для его взгляда. Малоприятное положение! Долли тоже заметила кое-что накануне вечером. Но это — совсем другое дело. Женщины могут замечать все

что угодно, на то они женщины. Но мужчине, джентльмену!.. Неловкость положения, в котором он очутился, до конца открылась ему только теперь. Наверно, даже с Долли нельзя посоветоваться. Он чувствовал себя отрезанным от мира, непередаваемо одиноким. Никто, ни одна живая душа, не сможет понять его тайных мучительных переживаний. Что ему делать: принимать меры, которые ему, как ее ближайшему родственнику и покровителю, надлежит принять на основании сведений, полученных пусть и неумышленно, но однако таким неблагоприятным путем? Ни разу за все годы у себя в полку — а там немало приходилось ему распутывать тонких дел, где речь шла о чести, — не сталкивался он ни с чем подобным. Бедная девочка! Нет, нет, нельзя думать о ней так. Ведь она... не так ведет себя, чтобы... Но додумать эту мысль он не смог, отчего-то не хватало духу заклеить Олив. А что если они встанут и пойдут сюда?

Он снял руки с парапета и зашагал в гостиницу. Ладони у него были совсем белые: так крепко вцепился он в холодный камень. На ходу он повторял себе: «Надо обдумать все спокойно, надо все как следует взвесить». От этого становилось легче. На молодого Леннана он, во всяком случае, может сердиться. Однако и тут, к вящему своему смущению, он оказался не в силах произнести окончательный приговор. Подобная нерешительность в собственных суждениях была ему внове и ужасно его угнетала. Было что-то в позе молодого человека, когда он сидел там подле Олив на скамейке... что-то тихое, почти робкое... почему-то полковник был немного растроган. Никуда не годится, нет, нет, это никуда не годится! Красивая из них получилась пара... Да что это он, черт возьми? Повстречавшийся священник из английской церквушки окликнул его: «Чудесное утро, полковник Эркотт!» Полковник поклонился, но ничего не ответил. Слова приветствия показались ему нелепы. Разве может быть чудесным утро, в которое совершаются такие открытия? Он вошел в гостиницу, свернул в обеденный зал и сел. Там никого не было. Все завтракали у себя наверху, даже Долли. Одна только Олив обычно приходила есть вместе с ним английский завтрак. И вдруг он понял, что уже теперь столкнулся с ужасной сложностью. Позавтракать, не дожидаясь, как прежде, Олив, было бы слишком уж нарочито. Она должна теперь прийти с минуты на минуту. Подождать ее и завтракать с ней вместе — но сумеет ли он?

Позади него раздался легкий шелест — она уже здесь. А он так ничего и не решил. И в эту минуту полного смятения полковник поступил так, как подсказало ему сердце: он встал, потрепал племянницу по щеке и придвинул ей стул.

— Ну, моя милая, — сказал он, — проголодалась?

Она выглядела очаровательно — такая нежная, в кремовом платье, от которого только ярче кажутся ее черные волосы и глаза... и глаза словно улетают куда-то... Да, да, звучит смешно, но именно так, иначе не скажешь. Вид ее не вернул полковнику спокойствия и уверенности. И он задумчиво очистил банан, с которого всегда начинал завтрак. Бранить ее, даже если это не значило бы признаться в бесчестном поступке, — да это все равно, что пристрелить ручную голубку или разорвать живой, красивый цветок.

И он искал спасения в разговоре:

— Гуляла? — спросил он, и тут же готов был прикусить себе язык: что если она ответит «нет»?

Но она не ответила «нет». Краска залила ей щеки, но она кивнула и сказала:

— Изумительное утро.

Как она была хороша, говоря это! А он вышел из игры, и по собственной вине — он теперь уже ни за что не расскажет ей о том, что видел, раз уже задал ей этот вопрос-ловушку. Немного погодя он спросил:

— У тебя есть на сегодня какие-нибудь планы?

Она, не запнувшись, ответила:

— Мы с Марком Леннаном собираемся на мулах подняться от Ментоны до Горбию.

Он потрясен был ее невозмутимостью; на его памяти ему не приходилось видеть женщины, обладавшей столь совершенным оружием для битвы за свою любовь, за любовь, которую она намерена спасти всему свету вопреки. Разве угадаешь, что она прячет за этой улыбкой! И в великом смятении чувств, причинявшим почти боль, он услышал, как она сказала:

— А вы с тетей Долли не хотели бы поехать?

Раздираемый между чувством ответственности и нежеланием портить чужую радость, между пониманием грозящей ей опасности и смешанным с жалостью восхищением ее красотой, между искренней

неприятно ко всему недозволенному и тайному (а разве здесь иное что-нибудь, если уж на то пошло?) и смутными догадками о том, что он столкнулся здесь с тем, чего ему не понять никогда в жизни, в чем, быть может, только они двое сами могут разобраться, — раздираемый между этими крайностями, полковник совсем растерялся.

— Мне... я должен спросить твою тетку, — кое-как пробормотал он. — Она... она плохо переносит езду на мулах.

А потом, повинувшись порыву нежности, вдруг спросил:

— Дорогая моя, я давно хотел у тебя узнать: счастлива ли ты дома?

— Дома?

Что-то зловещее прозвучало в этом повторенном слове. И зачем только он задал такой идиотский вопрос?

Она допила кофе и встала; полковник смотрел на нее со страхом: он боялся услышать ее ответ. Лицо его стало очень красным. Но случилось наихудшее — она просто ничего не ответила; только пожала слегка плечами и улыбнулась слабой улыбкой, которая пронзила полковнику сердце.

VI

Среди дикого тимьяна, под оливами горной деревушки Горбио, пока мулы щипали траву чуть в стороне, сидели они вдвоем и слушали, как кукует кукушка. После той удивительной нечаянной утренней встречи в парке, где они сидели и руки их соприкасались, а души замирали и возносились ввысь от такого небывалого, нечаянного счастья, им не было нужды говорить о своих чувствах, нарушать словами блаженство этой близости — такой робкой, такой страстной, такой призрачной. Они были точно два эпикурейца над стаканом старого вина, не устающие наслаждаться его ароматом и радостью предвкушения.

И потому разговор они вели не о любви, но, по печальному обычаю всех влюбленных, которым не благоприятствует судьба, о том, что они любят, — только не друг о друге.

И только ее рассказ об утреннем сновидения вырвал у него наконец слова; но она отстранялась, сказав;

— Нет, нет, этого не может быть... этого не должно быть.

Он задержал ее руку, а чуть погодя, увидев, что глаза ее полны слез, отважился поцеловать ее в щеку.

Трепетным, несмелым было это их свидание. Слишком непохож был Марк на властного мужчину-победителя, а Олив — на обыкновенную кокетку.

Потом, не утратив власти над собой, они пустились в обратный путь по каменистым склонам в Ментону.

Но всю дорогу до Болье, когда он ехал уже один в сером, пыльном купе вагона, он сидел, как замороженный, глядя перед собой туда, где еще недавно сидела против него она.

Два часа спустя, сидя за обедом в ее гостинице, между нею и миссис Эркотт, напротив полковника, он вдруг осознал, что ему предстоит. Следить за каждой своей мыслью, чтобы не выдать себя ни малейшим знаком; маскировать и взвешивать слова и взгляды, обращенные к ней; ни на минуту не забывать, что эти двое — живые и опасные соглядатаи, а не смешные, жалкие тени, какими кажутся ему. Притворяться, что он не любит — в этом теперь, быть может, и будет

состоять почти вся его любовь. О свершении своей любви он не дерзал и мечтать — ему предстоит быть ей другом, постараться, чтобы она была счастлива. Сгорать, терзаться тоской, но не думать о вознаграждении. Это была его первая настоящая страсть, столь непохожая на увлечения его весны, и он вложил в нее всю свою наивность, это трогательное свойство молодых англичан, которые в глубине души предпочитают спрятаться от истинной, окончательной природы любви, даже от признания за ней этой природы. Они двое обречены любить — и не любить! Впервые ему стал отчасти доступен смысл этих слов. Лишь порой несколько минут, полных восторга, а в остальном — неизменное присутствие внешнего мира, который они должны обманывать. Он уже почти ненавидел этого добропорядочного загорелого полковника с его ровным, но ничего не видящим взглядом, и его скучную любезную супругу с ее приятным светским разговором, то и дело обращающуюся к нему за обедом с какими-то вопросами, на которые он должен был отвечать, не понимая их смысла. Он вдруг осознал, что жизнь утратила для него всякий интерес, кроме одного; даже его работа потеряла смысл, оторванная от нее. Равнодушно выслушивал он похвалы каким-то отвратительным картинам в Королевской Академии из уст миссис Эркотт, которая почтительно посетила это заведение накануне своего отъезда за границу. А по мере того, как приближалась к концу мучительная трапеза, он начал страдать еще и оттого, что Олив держится так весело, любезно и спокойно. Как может она болтать так непринужденно, когда им невозможно даже обменяться ни единым взглядом любви? Любит ли она его — можно ли любить и не выразить этого ни малейшим знаком? И вдруг он почувствовал, как ее туфелька коснулась его ноги. То было лишь легчайшее, мимолетное прикосновение, но в нем была мольба, словно она говорила: «Я знаю, ты страдаешь; я страдаю тоже. Не вини же меня!» И он сразу почувствовал, чего стоило ей прибегнуть к этому старинному приему простой любви; ее прикосновение вызвало у него лишь наплыв рыцарских чувств. Пусть он сгорает вечным огнем, но больше он не причинит ей боли, не обнаружит перед нею своих страданий.

После обеда они сидели на балконе. Звезды сияли над пальмами; квакали лягушки. Он выбрал для своего стула такое место, чтобы смотреть на нее незаметно для других. Как бездонны, как нежно черны

ее глаза, когда на мгновение она встречается с ним взглядом! Ночная бабочка села ей на колено — хитрое создание; круглое свиное лицо, рожки, черные черточки глаз. Опустилась бы она так же доверчиво к кому-нибудь другому? Полковник знал, как она называется: у него в коллекции есть такая. Самый обычный вид. Интерес, вызванный бабочкой, прошел, но Леннан остался сидеть, подавшись вперед, глядя на прикрытое шелком колено.

Голос миссис Эркотт резче, чем обычно, произнес:

— Что пишет Роберт, дорогая? Когда он тебя ждет домой?

Он сумел не оторвать взгляда от бабочки, он даже снял осторожно мохнатое тельце с ее колена, а она в это время спокойным голосом ответила:

— Во вторник, кажется.

Он встал и выпустил бабочку в темноту ночи; руки и губы у него дрожали, и он боялся, что это заметят. Он никогда не испытывал, не подозревал даже, что можно испытать такую сильную, такую мучительную боль. Этот человек может вот так, когда ему вздумается, призвать ее к себе! Это было нелепо, невероятно, жутко, но это было правдой! Во вторник она разлучится с ним и вернется назад, во власть своего злого рока! Мысль эта причинила ему такую боль, что он со всей силой сжал перила балкона и стиснул зубы, чтобы не закричать. А за нею пришла другая мысль: с этой мукой я буду теперь жить дни и ночи и должен буду прятать ее от всех на свете.

Они попрощались с ним; и он должен был глупо ухмыляться, раскланиваться и делать вид — прежде всего перед нею, — что он совершенно счастлив. А она, он видел, все равно понимала его притворство.

Он остался один, чувствуя, что подвел ее при первой же трудности; и сердце его разрывалось между ужасом от того, что ему открылось, и страстным желанием быть с нею все равно, чего бы это ни стоило... Так завершился день их первого поцелуя, который, как он тогда подумал, отдал ее ему безраздельно.

Он сел на скамью против казино. Ни огня, ни люди, входившие в игорные залы и выходявшие обратно, ни даже музыка цыганского оркестра не развлекали его. Неужели и суток еще не прошло, как он подобрал ее платок вон там, совсем близко отсюда? За эти двадцать четыре часа он, кажется, пережил все чувства, какие способен

испытывать человек. И на всем свете ни с одной живой душой он не мог бы теперь поделиться своим горем, даже с нею, потому что от нее прежде всего он должен скрывать, как он несчастен. Так вот она, преступная любовь, как ее называют! Одиночество и страдание! Не ревность — ибо ее сердце принадлежит ему, — но потрясение, ярость, ужас. Нескончаемая одинокая мука! И никто на свете, даже если бы знал, не вздохнул бы, не пожалел бы его!

Что же, может, в самом деле существует, как думали древние, демон, которому любо играть людьми, как люди иной раз играют с козьявкой, а под конец возьмут и раздавят ее ногой?

Он встал и пошел к вокзалу. Вот скамейка, на которой сидела она, когда он увидел ее сегодня утром. Тогда звезды на путях своих благоприятствовали им, но на радость ли — этого он теперь не знал. На скамейке еще валялись раздавленные и рассыпанные ею ягоды мастикового дерева. Он сломал еще одну веточку и растер ягоды между ладоней. Их запах был словно призрак тех минут, когда ее рука лежала на скамейке, касаясь его руки. Звезды на путях своих — на радость ли, на горе...

VII

Полковник и миссис Эркотт утратили покой. Они чувствовали себя заговорщиками, а к заговорам они отнюдь не привыкли. Но как действовать в открытую, когда все, внушающее тревогу, было узнано случайно, подсмотрено ненароком? Что не предназначено для ваших глаз и ушей, то как бы вовсе не существует — таков священный закон порядочности. Тогда уж и чужие письма можно вскрывать, если допустить, что можно воспользоваться подобного рода сведениями. В этом привычка и натура позволяли им быть заодно, и планы они строили вместе. Но где-то глубже они расходились. Миссис Эркотт высказала мнение, что они имеют дело с чем-то таким, что не подвластно человеческой воле, а полковник сам почувствовал это — большая разница! В теории менее терпимый, в душе он был растроган, миссис Эркотт же, в теории готовая чуть не одобрить — недаром она читала эту опасную романистку Джорджа Эллиот, — в душе оставалась холодна к племяннице мужа. И по этой причине они не могли спокойно строить свои тайные планы, в конце концов один из них вдруг восклицал: «Ах, что проку об этом спорить!» — чтобы почти сразу же снова заспорить на эту тему.

Предлагая жене утром поездку на мулах, полковник не нашел довольно времени или, вернее, решимости, а пожалуй, и желания объяснить ей, почему так важно, чтобы она согласилась. Только когда она, к его непонятному облегчению, отказалась и Олив уехала без них, он поведал ей о встрече в парке, свидетелем которой оказался. Тогда она тут же заявила, что, зная она об этом, она бы, конечно, всем пожертвовала, лишь бы только сопровождать их; не потому, что она считает правильным вмешиваться, а потому, что надо ведь подумать о Роберте! Полковник тогда сказал: «Черт бы побрал этого субъекта!» И на том дело временно остановилось, ибо ни он, ни она не знали точно, кто именно этот субъект, которого должен был побрать черт. И в этом-то заключалась вся трудность. Если бы полковник не любил так свою племянницу, если бы Роберт Крэмьер был ему симпатичен, если бы миссис Эркотт не находила Марка Леннана «милым молодым человеком» и не считала в глубине души, что мужнина племянница

угрожает спокойствию ее духа, если бы, иными словами, эти трое были не люди, а деревянные куклы, движимые определенными законами, — это было бы куда проще для всех заинтересованных сторон. Именно открытие, что в таких делах действует не простое тройное правило, а сложное уравнение характеров и сердец, смутило покой полковника Эркотта и вызвало у него чуть ли не ярость; именно оно угнетало миссис Эркотт, сделав ее такой молчаливой... Простые души, они натолкнулись тут на загадку, которая от сотворения разделяла мир. Как судить о делах человеческих: по всей их сложности или по формальному кодексу?

За внешностью, за словами, как никогда непримиримыми, вера полковника Эркотта в законы благопристойности была подорвана; он просто не мог выбросить из головы ни образ двух юных созданий, сидящих рядышком на скамейке, ни тон, которым Олив повторила его нелепый вопрос, когда он вздумал спросить ее, счастлива ли она дома.

Если бы все это не касалось его так близко! Если бы Олив была не его племянница, а чья-то еще, ясно было бы, что ее долг — и впредь оставаться несчастной. Но она была его племянницей, и чем больше он думал, тем меньше понимал, что ему следует думать. За все годы так и не приобретший приличного счета в банке, не приобретший за свою бродячую жизнь особого почтения к обществу, которое обычно вызывало у него лишь скуку, полковник не преувеличивал опасностей, проистекавших из этой истории; положив руку на сердце, не верил он и в то, что ей уготованы вечные муки, если она не сумеет сохранить верность «этому темному субъекту», как он звал про себя Крэмьера. Он испытывал лишь глубокое сострадание и понимал с тоской, что женщины в их семье так не поступают, что его покойный брат перевернулся бы в гробу; одним словом, что это «не принято». Однако он отнюдь не принадлежал к числу тех, кто, признавая свободу за женщинами вообще, бичует женщин своей семьи, если те воспользуются этой свободой. Напротив, свято веруя в то, что Женщина вообще должна быть безупречна в глазах света, он склонен был отыскивать оправдания для тех, которых он знал и любил. Давнее подозрение, что Крэмьер — «яблочко не без пятнышка», быть может, тоже оказало на него незаметно какое-то воздействие. Дело в том, что, как он слышал, даже фамилия Крэмьер досталась ему не по праву крови, а перешла к нему от одного бездетного человека, который его

усыновил, воспитал и оставил ему большое состояние. Что-то в этом было такое, что не нравилось бездетному полковнику. Он сам никого не усыновлял, и его не усыновляли тоже. Приемным детям не хватает некоторой разумной гарантии — словно невыдержанному вину или лошади без родословной; в таком нельзя быть уверенным, потому что у него нет традиций в крови. Внешность Крэмьера, его манера держаться, в свою очередь, усугубляли недоверие полковника. Нет, он не чистых кровей, и к тому же упрям, скрытен — из таких, что не останутся ни перед чем. Почему Олив решила выйти за него замуж? Но, впрочем, женщины — капризные создания, а дорогой Линдсей с его церковным облачением и строгими взглядами на дочерний долг послушания был, должно быть, бедняга, настоящий деспот. И, кроме того, Крэмьер, несомненно, принадлежит к числу тех, кого женщины считают красавцами — у него куда более выигрышная внешность, чем у этого тихого молодого человека, Леннана, у которого черты лица не ахти какие, хотя в общем-то приятные, и улыбка хороша — такой человек не может не понравиться и уж, конечно, не обидит и мухи! И внезапно полковника осенило: почему бы ему не пойти к молодому Леннану и не поговорить с ним напрямик? Сказать ему, что он влюблен в Олив? Ну, не в лоб, а так как-нибудь — там видно будет. Полковник долго обдумывал свой замысел и наутро за бритьем поделился им с миссис Эркотт. Ее ответ: «Какой вздор, милый Джон!» — положил конец его сомнениям.

Не сказав, куда направляется, он сразу же после завтрака ушел — и поехал в Болье. В гостинице, где остановился молодой Леннан, он велел снести наверх свою визитную карточку, но услышал в ответ, что мосье уже ушел и, возможно, не вернется до вечера. Так его готовность шагать прямо пушечным жерлам навстречу оказалась пресечена в самом начале, и он в растерянности не мог решить, что ему делать дальше. Потом подумал, что, пожалуй, можно осмотреть Болье (поговаривали, что это местечко входит в моду), и зашагал вверх по отлогому склону, который весь порос розовыми кустами. Тысячи роз рдели над землею, осыпавшиеся лепестки ковром покрывали склон. На ходу полковник наклонился, чтобы понюхать цветок-другой, но они почти не пахли, словно понимали, что сезон уже кончается. Кое-где среди роз еще работали крестьяне в синих блузах. И вдруг он увидел молодого Леннана, который сидел на камне и мял пальцами

какую-то замазку. Полковник растерянно остановился. Помимо явных причин для замешательства, было у него еще свойственное многим представителям его касты определенное почтение к искусству. Это, конечно, не работа, но все-таки штука хитрая — уму непостижимо, как люди умеют такое? Увидев его, Леннан поднялся навстречу, уронив носовой платок на свою лепку, но не раньше, чем полковник успел заметить в ней что-то смутно знакомое. Лицо молодого человека было очень красным, и полковник тоже вдруг почувствовал, что жара стоит непереносимая. Он протянул руку.

— Приятное, тихое местечко, — запинаясь, проговорил он. — Я здесь еще не бывал. Заходил к вам в гостиницу.

Теперь, когда представилась возможность, полковник совершенно не знал, как приступить к разговору. Увиденное мельком в куске «замазки» лицо лишило его всякого присутствия духа. Мысль, что молодой человек лепит его тут в одиночестве, всего на какой-то час или два разлученный с оригиналом, очень тронула полковника. Как же сказать то, ради чего он приехал? Все получилось совсем не так, как он думал. И внезапно мелькнула мысль: Долли-то оказалась права! Она всегда права — вот что обидно!

— Вы заняты, — сказал он, — я не хочу вам мешать.

— Напротив, сэр. Я очень признателен, что вы ко мне заглянули.

Полковник удивился. В манере молодого Леннана появилось что-то, чего он раньше не замечал: какая-то твердость, словно бы предупреждавшая: «Я не потерплю фамильярности!» От этого слова вовсе не шли с языка, но полковник не уходил, а стоял и смотрел на молодого человека, который с таким вежливым видом ждал, что он скажет дальше. Наконец в голову ему пришел спасительный вопрос:

— Э-э-э... когда вы собираетесь назад, в Англию? Мы уезжаем во вторник.

Пока он говорил, ветерком приподняло носовой платок над вылепленным лицом. Поправит ли его молодой человек? Нет, он не стал этого делать. И полковник Эркотт подумал: «Это было бы дурным тоном. Он знает, что я не воспользуюсь подобной случайностью. Да, он настоящий джентльмен!»

И, подняв руку к шляпе, он сказал:

— Ну, мне пора идти. Я, наверно, увижу вас за обедом? — И, решительно повернувшись, зашагал прочь.

Всю обратную дорогу его преследовало воспоминание об этом полувывлепленном из «замазки» лице. Дело плохо: это всерьез! И в душе у него все росло и росло сознание, что сам он тут совершенно ничего не значит.

О своей поездке он не рассказал никому.

Когда полковник Эркотт, отсалютовав по-военному, ушел, Леннан снова сел на плоский камень, взял в руки свою «замазку», сдвинул, и в мановение ока проглядывавшее в ней лицо исчезло. Он долго сидел, застыв в неподвижности, казалось, поглощенный игрой голубых мотыльков, порхающих над алыми и багряными розами. Потом пальцы его снова заработали, лихорадочно вылепливая чью-то голову — не человека, не животного, но что-то смешанное, грузное, отягощенное рогами. И в движениях его коротких тупых пальцев было что-то отчаянное, словно они пытались задушить то, что создавали.

VIII

В те дни люди, честно послужившие своей стране, путешествовали, как истые спартанцы, в обычных спальнях вагонов первого класса и утром просыпались в Лароше или еще в каком-нибудь месте со странным названием, чтобы пить бледный кофе с не менее бледными бриошами. Так было и с полковником Эркоттом, его женой и племянницей, ехавшими в обществе книг, которых они не читали, провизии, которую они не ели, и одного сонного ирландца, который возвращался домой с Востока. С ногами возникли обычные сложности: всем как-то неловко было класть ноги на диван, и все в конце концов положили, кроме Олив. Не однажды за эту ночь полковник, лежа на диване против нее, просыпался и видел, что она сидит в своем уголке и глаза ее по-прежнему открыты. Он смотрел на эту головку, которой он так восхищался, высоко поднятую, недвижимую в черной соломенной шляпке, не прикасающуюся к спинке дивана, и сон его вдруг проходил. Тогда, слегка задев ирландца, он опускал ноги, наклонялся к ней в темноте и, вдыхая слабый аромат фиалок, сдавленным шепотом спрашивал: «Не нужно ли тебе чего-нибудь, моя милая?» Когда она улыбалась и качала в ответ головой, он откидывался на своем диване, слушал, затаив дыхание, не проснулась ли Долли, и снова укладывался, опять задев ногами ирландца. Один раз после такой вылазки он целых десять минут лежал без сна, дивясь ее неумолимой неподвижности. А она всю эту ночь была как зачарованная — ей чудилось, что Леннан сидит подле нее и держит ее за руку. Она словно чувствовала прикосновение его пальца на своей ладони, в том месте, где открывается перчатка. Как чудесна, как сказочна была эта их близость в темноте летящей мимо ночи — ни за что на свете не согласилась бы она уснуть! Она еще никогда не чувствовала себя так близко к нему, даже в тот день, когда он под оливами единственный раз поцеловал ее; даже вчера, на концерте, когда его плечо прижалось к ее плечу и его голос шептал ей слова, которым она так жадно внимала. И золотые четырнадцать дней на Ривьере все проносились и проносились перед нею бесконечным замкнутым кольцом воспоминаний. И каждый был точно цветок,

полный аромата, красок, жизни. Но живее всех был в памяти тот миг, когда, прощаясь у подножки вагона, он сказал тихо-тихо, так что и она едва расслышала: «До свидания, моя любимая». В первый раз он назвал ее так. И не было для нее ничего дороже этих простых слов, даже поцелуй в щеку там, под оливами, не мог с ними сравниться. Летели часы ночи, но сквозь грохот и стук колес, сквозь храп ирландца они все еще звучали у нее в душе. И, может быть, не стоит удивляться, что за всю эту ночь она ни разу не подумала о будущем — не строила планов, не пыталась осмыслить свое положение; она просто отдалась во власть воспоминаний, отдалась этому пригрезившемуся ей чувству его присутствия, его близости. Что бы ни было потом, сейчас она принадлежит ему. Таков был этот сон наяву, погрузивший ее в странное, тихое, неутомимое оцепенение, которое так трогало полковника, когда он просыпался.

В Париже они с вокзала на вокзал доехали в тесном экипаже, «где троим негде ног вытянуть», как выразился полковник Эркотт. Не видя в племяннице признаков уныния и тоски, полковник понемногу воспрянул духом и в буфете на Gare du Nord,^[14] пока Олив уходила вымыть руки, сказал жене, что ничего серьезного во всем этом не было, раз Олив так легко переносит разлуку.

Но миссис Эркотт сказала:

— Разве ты не замечал, что Олив никогда не показывает своих чувств, если не хочет? Недаром же у нее такие глаза.

— Какие глаза?

— Глаза, которые все видят, но словно бы ничего не замечают.

Уловив боль в голосе жены, полковник хотел было взять ее за руку. Но миссис Эркотт удалилась туда, куда он не мог за ней последовать.

Вдруг брошенный на произвол судьбы, полковник глубоко задумался, барабанив пальцами по столику. Еще того не легче! Долли просто несправедлива. Бедняжка Долли! Он любит ее ничуть не меньше, чем прежде. Разумеется! Он же не виноват, что Олив молода и так хороша собой; не виноват, что должен заботиться о ней, что ей надо помочь выпутаться из этой истории. И он сидел, сокрушаясь и дивясь женскому неразумию.

Ему и невдомек было, что минувшую ночь миссис Эркотт так же не сомкнула глаз, как и его племянница, и была свидетельницей всех

его ночных вылазок, с болью говоря себе каждый раз: «А вот как я переносу дорогу, об этом он не думает!»

Впрочем, вернулась она успокоенная, запрятав свою обиду, и вскоре они снова мчались по дороге в Англию.

Но будущее понемногу овладевало Олив; власть прошлого теряла силу; и с каждой минутой росло в ней чувство, что все это было лишь грезой. Пройдет еще несколько часов, и она вновь переступит порог дома, что стоит чуть не под самыми стенами старого собора, — почему-то это сумрачное строение напоминало ей о детстве, о ее суровом отце с тонким, словно вырезанным из камня лицом. Встреча с мужем! Как пройти через это? А потом? Но она не желала думать о том, что предстояло позднее. И о завтрашнем дне и о всех других днях, когда она вновь станет узницей, не принуждаемой ни к чему, на что можно было бы пожаловаться, но ежечасно чувствующей отсутствие тепла, вдохновения, радости. В это будущее ей предстояло вернуться из своей мечты — без надежды, без сопротивления. Загородный домик на Темзе, куда муж приезжал лишь по субботам, был для нее раньше убежищем, но там с ней не будет Марка, если только... Но уверенность, что она должна, что она непременно будет хоть изредка видеться с Марком, снова вернула жизни отсвет очарования. Только бы видеться с ним, а все остальное не имеет значения! И никогда больше уже значения иметь не будет!

Полковник протягивал ей сумку, говоря: «Похоже, что поболтает нас изрядно». И она очнулась. Радуюсь возможности остаться одной и испытывая усталость после бессонной ночи, она скрылась в дамской каюте и проспала все плавание, пока ее не разбудил голос старой стюардессы: «Славно вы поспали. Мы уже у пристани, мисс». Ах, если бы это обращение причиталось ей по праву! Ей снилось, будто она сидит на цветущем лугу, а Леннан поднимает ее за руки и говорит: «Вот мы и здесь, моя любимая!»

На палубе полковник Эркотт, нагруженный картонками и портпледами, оглядывался и высматривал ее, стараясь сохранить свободное место между собою и своей женой. Он подбородком сделал ей знак пробираться к ним. Но еще на полпути она случайно подняла глаза и над собой, у парапета пристани, увидела мужа. Перегнувшись, он искал глазами ее; и рядом с его высокой массивной фигурой другие люди казались пигмеями. В гладко выбритом квадратном лице его, с

властными, пронзительными глазами, была такая твердость и сила, что все лица по обе стороны от него просто переставали существовать. Она видела его очень ясно, различала даже седину в его черных волосах на висках под соломенной шляпой и заметила, что он немного грузноват для такого щеголеватого голубого костюма. Лицо его смягчилось; он помахал рукой. И тогда ее вдруг пронзила мысль: что если бы Марк поехал с ними, как он хотел? Отныне всегда и навеки этот большой темный человек, который улыбается ей сейчас, — ее враг; от него она, если сумеет, будет хранить и прятать самое себя и уж, во всяком случае, будет прятать каждую свою мысль, каждое движение души! Она готова была закричать, забиться в плаче, но вместо этого сжала крепче ручку сумки и улыбнулась. Привыкшая разбираться в его настроениях, она на этот раз, здороваясь с ним, почувствовала в силе, с какой он сжал ее плечи, что-то новое и непонятное. Его голос прозвучал с угрюмой искренностью: «Очень рад, что ты наконец вернулась». Переданная его заботам, она испытывала такое сильное физическое отвращение, что у нее едва хватило сил дойти до занятого им купе. Несмотря на все дурные предчувствия, она поняла теперь, что и отдаленного представления не имела о том, что ее теперь ожидало. И когда он вполголоса спросил: «Нельзя ли как-нибудь отделаться от стариков?», — она поспешила оглянуться и удостовериться, что дядя с теткой идут следом. Чтобы не разговаривать с ним, она сделала вид, будто плохо перенесла дорогу, и откинулась в углу купе, закрыв глаза. Если бы она могла, открыв их, увидеть не это мрачное лицо с квадратной челюстью и властным собственническим взглядом, а то, другое, с покорными, восхищенными глазами! Бесконечно длинное путешествие до обидного быстро подошло к концу. На платформе Чэринг-кросса она все никак не могла выпустить руку полковника Эркотта. Исчезнет его доброе лицо — и тогда она пропала! Потом, когда захлопнулась дверца кэба, она услышала голос мужа: «Что же ты, разве не хочешь меня поцеловать?» — и подчинилась обнявшим ее рукам.

Как она старалась убедить себя: «Что за важность, это не я, не душа моя, не мои чувства, а всего лишь мои бедные губы!»

И услышала, как он сказал:

— Что-то ты не слишком рада меня видеть.

А немного спустя:

— Я слышал, вы встречались на Ривьере с молодым Леннаном? А он там что делал?

Вихрем налетел испуг, тут же мелькнуло опасение: не заметно ли это по ней, — ему на смену пришла сверхъестественная ясность мысли и небывалая выдержка — все это за миг перед тем, как она ответила:

— Ничего, развлекался, по-моему.

Прошло еще несколько секунд, и он сказал:

— Ты о нем ничего не писала.

Она ответила спокойно:

— Разве? А он много бывал с нами.

Она знала, что он на нее смотрит — пронизательно, с угрозой. Почему — ах, почему? — не могла она тут же, сейчас, крикнуть ему в лицо: «И я люблю его, слышишь? Люблю!» Как мучительно было предавать собственную любовь такой полужошью! И все это еще гораздо мрачнее и безнадежнее, чем она полагала. Невозможно представить себе, как она могла отдать себя на всю жизнь этому человеку! Если бы спрятаться от него сейчас, очутиться в своей комнате и все спокойно обдумать! Ибо его глаза ни на минуту не отрывались от нее, шаря по ее лицу и фигуре с какой-то жалкой жадностью и в то же время с угрозой, с вопросом, пока вдруг он не проговорил:

— Ну что же, во вред тебе это не пошло. Ты выглядишь превосходно.

Но его прикосновения она, при всей выдержке, стерпеть не смогла и отшатнулась, словно он ее ударил.

— Что с тобой? Я сделал тебе больно?

Ей показалось сначала, что он издевается, потом она с предельной ясностью поняла, что ошиблась. И со всей безжалостной силой осознав ту опасность, которая угрожает ей, а может быть, даже и Марку, если она будет шарахаться от его прикосновений, она сделала над собой отчаянное усилие и, просунув руку ему под локоть, сказала:

— Я очень устала... И как-то не ждала...

Но он высвободил руку, отвернулся и стал смотреть в окно. Так доехали они до своего дома.

Когда он оставил ее одну, она еще долго стояла на том же месте, у шкафа, молча, без движения, и думала: «Что я буду делать? Как я буду

ЖИТЬ?»

IX

Когда Марк Леннан, вернувшись из Болье, добрался до своей квартиры в Челси, он сразу же поспешил к пачке ожидавших его писем, дважды перебрал ее лихорадочно и в растерянности застыл у стола. Почему она не прислала ему записку, как обещала? И он начал понимать — хотя еще и не до конца, — что это значит: любить замужнюю женщину. Ему предстоит в этом мучительном неведении прождать еще по крайней мере восемнадцать часов, пока можно будет пойти к ней с визитом и узнать причину ее молчания и услышать из ее уст, что она его еще любит. Равнодушнейший из законных мужей может в любую минуту видеть его возлюбленную, он же должен, сгорая от любви, ждать с убийственным терпением, чтобы опрометчивым поступком не повредить ей. Послать телеграмму? Он не решался. Написать письмо? Она получит его с утренней почтой, но какие слова написать, чтобы не опасаться, как бы Крэмьер их случайно не прочитал? Поехать к ней? И того невозможнее; самое раннее, завтра в три часа — вот когда к ней можно будет поехать. Взгляд его блуждал по мастерской. Неужели все здесь и все его работы остались такими же, как двадцать дней назад, когда он уезжал? Казалось, теперь весь смысл их существования в том, что смотреть на них может прийти она, сесть вот в это кресло, пить вот из этой чашки, позволить ему положить ей за спину вот эту подушечку, а под ноги поставить вот эту скамейку. Он до того ясно представил себе, как она сидит, откинувшись на спинку кресла, и смотрит на него, что так и верилось, будто все это уже было на самом деле. Как странно — ничего еще не решено между ними, не сделано признания, что любовь их не может остаться платонической, ничего не изменилось в их отношениях, не считая одного робкого поцелуя и нескольких шепотом произнесенных слов, — а все стало совсем иным. Месяц назад он, если ему хотелось, мог, не откладывая, преспокойно пойти к ней в гости. В этом не было бы ничего необычного, ничего дурного. А теперь сделалось невозможным даже малейшее отступление от самых строгих правил приличия. Рано или поздно на это обратят внимание, и тогда его сочтут тем, чем он не является, — ее любовником! Перед ее пустым креслом

опустился он на колени, протянул руки!.. Ничего — пустота неосязаемая, без тепла, без аромата. Только дуновение страсти в воздухе, словно дыхание ветра в траве...

Он подошел к круглому окошку, выходявшему на реку. Последний вечер мая — сумерки над водой, полумрак затаился в ветвях деревьев, и так тепел, так мягок воздух! Лучше быть там, в ночном городе, в потоке жизни, среди таких же, как ты, среди тех, у кого тоже бьется сердце, а не оставаться в этом доме, где все без нее — холод и бессмыслица.

Фонари — эти страстоцветы больших городов — из бледных становились ярко-оранжевыми, в небе зажигались звезды. Половина десятого! В десять часов, и ни минутой раньше, он пройдет мимо ее дома. Эта перспектива, как ни скромна, как ни жалка она была, все же придала ему бодрости. Но субботними вечерами в парламенте не бывает заседаний. Значит, Крэмьер дома, или же они оба куда-нибудь ушли, или, может быть, уехали в свой загородный дом на Темзе. Крэмьер! Какой жестокий демон распорядился так изуродовать ее жизнь? Почему, почему она ему не повстречалась до того, как связала свою жизнь с этим человеком? Вместо спокойного презрения к мужчине, который либо недостаточно чуток, чтобы понять, что его брак не удался, либо же недостаточно благороден, чтобы от последствий этой неудачи не страдала его жена, Марк уже давно испытывал к нему ревнивое отвращение, как к какому-то чудовищу. Схватиться с Крэмьером один на один в смертном бою — только это могло утолить его жгучую ненависть... а ведь он был по натуре мягким и кротким.

Сердце его бешено колотилось, когда он подходил к ее улице — одной из тех красивых старинных улочек, что принадлежат к Лондону минувших времен. Она была очень узка, и на ней некуда было бы укрыться, повстречайся ему кто-нибудь в этой отдаленной тихой заводи, из которой не было пути никуда. Он, разумеется, должен будет сказать какую-нибудь ложь. Ложь и ненависть, эти жестокие силы жизни, станут совершенной заурядностью в сравнении с жестокой силой его любви.

В нерешительности постоял он немного у ограды старого собора. Черный, с белыми прожилками и туманными башнями, высился он в полутьме, точно грандиозный призрак. Казалось, сама таинственность

воплощена в нем. Марк повернулся и, быстро перейдя через улицу, зашагал под самыми стенами домов. В ее доме окна освещены! Значит, она там! Тусклый свет в столовой, огонь наверху — без сомнения, это ее комната! Неужели не существует способа привлечь ее к окну, неужели его душа не может подняться туда и воззвать к ее душе? Быть может, ее там и нет, может, это всего лишь горничная принесла наверх горячую воду. Он дошел уже до конца улицы, но уйти, не пройдя еще раз мимо ее окон, у него не было сил. Теперь он шел медленно, опустив голову, изображая глубокую задумчивость, шел, сожалея о каждом уже пройденном дюйме и не переставая вглядываться в то окно, где горел за шторами свет. Ни знака! Опять очутился он у ограды старого собора и опять не мог себя заставить уйти. На пустынной, узкой улочке не было ни живой души, ни кошки, ни собаки, ни признака жизни — только молчаливые освещенные окна. Словно лица, прикрытые вуалью, с полным бесстрашием взирали они на его нерешительность. И он подумал: «Ну что ж, не я один такой. Немало сейчас, наверно, есть людей, кто находятся так же близко и одновременно так далеко! Немало обреченных на страдание!» Но чего бы ни отдал он в тот миг, чтобы раздернулись шторы на ее окне! Потом, испуганный появлением пешехода, он повернулся и зашагал прочь.

Назавтра в три часа он явился к ней с визитом.

Посреди ее белой гостиной, где окно в частом переплете занимало целую стену, стоял столик, а на нем — серебряная ваза с ранними дельфиниумами, наверно, из их загородного сада. Дожидаясь, Леннан стоял и разглядывал эти цветы, похожие на голубых мотыльков и редкой окраски кузнечиков, повисших на светло-зеленом стебле. В этой комнате проводила дни она, отторгнутая от него. Раз в неделю, не чаще, сможет он сюда приходить — раз в неделю на час или два из тех ста шестидесяти восьми часов, что он будет стремиться к ней.

И вдруг он почувствовал, что она уже здесь. Она вошла неслышно и стояла подле рояля, такая бледная в своем кремовом платье, что глаза ее казались черными, как смоль. Он едва узнавал это лицо, закрывшееся, точно цветок под дыханием холодного ветра.

Что он сделал? Что могло произойти за эти пять дней, отчего она так к нему изменилась? Он взял ее руки и хотел поцеловать их, но она быстро сказала:

— Он дома!

Марк стоял молча и глядел в ее глаза, скованные ледяным спокойствием, растопить которое он должен был во что бы то ни стала, — от этого, казалось, зависела сейчас его жизнь. Потом спросил:

— Что случилось? Или я для вас ничего не значу?

Едва только выговорив это, он увидел, что спрашивать было незачем, и обнял ее. Она порывисто прижалась к нему, но в следующее мгновение высвободилась из его объятий со словами:

— Нет, нет, сядем спокойно!

Он подчинился, наполовину угадывая, наполовину отказываясь ясно представить себе, что крылось за этой странной холодностью и этим ее страстным порывом — и жалость к самой себе, и отвращение, стыд, и гнев, и тоска замужней женщины, впервые принимающей своего возлюбленного в доме своего мужа.

Теперь она старалась заставить его забыть ее странное поведение; старалась снова быть с ним такой, как в те солнечные дни на Ривьере.

Но вдруг, одними губами, она быстро проговорила:

— Скорее! Когда мы можем увидеться? Я приду завтра в пять...

И, следуя за ее взглядом, он увидел, как растворились двери и вошел Крэмьер. Без улыбки на лице, огромный в этой низкой комнате, он пошел прямо на них и протянул Леннану руку, потом пододвинул себе кресло и сел как раз между ними.

— Итак, вы вернулись в Лондон, — сказал он. — Хорошо провели время?

— Да, благодарю вас.

— Удачно вышло для Олив, что вы там оказались: в этих городишках бывает тоскливо.

— Для меня еще удачнее!

— Не сомневаюсь.

И с этими словами он повернулся к жене. Руки его лежали на подлокотниках стиснутыми кулаками вверх; казалось, он понимал, что держит их обоих в своих руках — его в одном, ее в другом кулаке.

— Удивляюсь, — медленно сказал он, — как люди, вроде вас, ничем не связанные, могут жить в Лондоне. Я бы сказал, Рим, Париж — вот ваш рай.

В его голосе, в его всегда чуть красноватых глазах с их властным, самоуверенным взглядом, во всем его облике чувствовались скрытая угроза и презрение, словно он говорил про себя: «Попробуй только встать у меня на дороге — я тебя раздавлю!»

Марк думал: «Долго ли еще мне нужно тут сидеть?». И вдруг из-за профиля этого грузного мужчины, бесповоротно усевшегося между ними, он поймал ее взгляд, быстрый, уверенный, рассчитанный с удивительной точностью, а потом еще и еще один — словно сама опасность побуждала ее оставить притворную холодность. Что, если Крэмьер перехватит один такой взгляд? Но надо ли бояться, как бы ласточка не расшиблась о стеку, над которой она пролетает? И все-таки, не в силах этого дольше видеть, Леннан поднялся.

— Уже? — Сколько в одном этом учтивом слове было холодной наглости!

Он не видел, как рука его встретилась с тяжелой ладонью Крэмьера. Он заметил, что Олив встала так, чтобы, когда они будут прощаться, их лица не были видны. Глаза ее улыбались и в то же время

молили; губы сложили слово «Завтра!»; и, сжав отчаянно ее руку, он ушел.

Он и не подозревал, какой мучительной окажется встреча с нею в присутствии того, кто ею владеет. Может быть, все-таки ему надо от нее отказаться, отказаться от этой любви, которая сводит его с ума?

Он взобрался в омнибус и поехал в сторону Вест-Энда. Начались еще одни сутки голода. Как он убьет эти двадцать четыре часа — безразлично. Потому что это часы его боли, и надо хоть как-то их перетерпеть — перетерпеть, а что потом? Час или два, которые он проведет с нею, из последних сил держа себя в руках?

Как большинство артистов и меньшинство англичан, он жил чувствами, а не фактами; и потому бесповоротные решения не приносили ему облегчения. Но он их все-таки принимал, и немало: и что откажется от нее, и что сохранит верность идеалу служения без награды, и что будет молить ее, чтобы она оставила Крэмьера и пришла к нему, — и каждое такое решение он принимал по несколько раз.

У Хайд-парка он слез с омнибуса и вошел в парк, надеясь, что от прогулки ему станет полегче. Но там повсюду сидело великое множество народу, и все предавались единственно разумному в этот час и в этом месте занятию: дышали целебным свежим воздухом; чтобы не видеть их, он пошел вдоль ограды и наткнулся прямо на полковника Эркотта и его супругу, которые шли со стороны Найтсбриджа, оба немного возбужденные и покрасневшие после завтрака у знакомого генерала, где рассказывали про «Монте».

Они приветствовали его с наигранным изумлением людей, не раз говоривших друг другу: «Вот посмотришь, он там долго не задержится!» Как приятно, сказали они, его встретить. Давно ли он вернулся? Они думали, он собирался в Италию. А вид у него довольно усталый. Виделся ли он с Олив, они не спросили — по доброте, а может, из опасения, что он скажет «да», и им будет неловко, или окажется «нет», а это будет и того хуже, когда выяснятся, что ему следовало бы ответить «да». Не присядет ли он с ними на минутку? Они идут навестить Олив. Леннан почувствовал, что это — предупреждение. И заставив себя глядеть им прямо в глаза, сказал: «А я как раз оттуда».

В тот же вечер миссис Эркотт так выразила свои впечатления:

— Бедный молодой человек, у него совсем измученный вид! Боюсь, ничем хорошим это не кончится. Ты заметил, как он от нас убежал? И похудел он сильно; если бы не загар, он выглядел бы совсем больным. Глаза такие страдальческие, а раньше они у него всегда так мило улыбались.

Полковник, который застегивал крючки на женином платье, прервал это требующее полнейшего внимания занятие.

— Ужасно жалко, — заметил он, — что у него нет настоящего дела. Вся эта его пачкотня с глиной — пустая забава.

И медленно застегнул один крючок, отчего несколько других сразу расстегнулось.

А миссис Эркотт продолжала:

— Я сегодня смотрела на Олив, когда она думала, что ее не видят. Такое впечатление, будто она снимала маску. Но Роберт Крэмьер с этим мириться не станет. Он в нее по-прежнему влюблен, я видела его лицо. Джон, это трагедия!

Полковник выпустил крючки.

— Если бы я думал, что это так, — промолвил он, — я бы что-нибудь сделал.

— Если бы ты мог сделать что-нибудь, это не было бы трагедией.

Полковник широко открыл глаза. Что-нибудь да всегда бывает можно сделать.

— Ты читаешь слишком много романов, — сказал он без особого убеждения в голосе.

Его жена улыбнулась и ничего не ответила на его выпад: это она слышала не в первый раз.

Когда после встречи с Эркоттами Леннан добрался до дому, он обнаружил у себя в почтовом ящике визитную карточку, на которой значилось: «Миссис Дун» и «Мисс Сильвия Дун», а снизу карандашом было приписано: «Зайдите навесить нас до того, как мы уедем в Хейл, пожалуйста. Сильвия». Он долго, бессмысленно смотрел на этот круглый, так хорошо ему знакомый почерк.

Сильвия! Наверно, ничто не могло бы с такой ясностью показать ему, как безнадежно поглотил потоп его страсти весь остальной мир. Сильвия! Он забыл даже о ее существовании; а ведь еще только в прошлом году, когда он окончательно поселился в Лондоне, они опять часто встречались, и он даже начал снова посматривать на нее с нежностью — такая она милая, такие у нее красивые светло-золотистые волосы и такой преданный взгляд. Потом они на всю зиму уехали в Алжир: этого требовало здоровье ее матери. Когда они возвратились, он уже избегал встреч с нею; хотя это было еще до того, как Олив уехала в Монте-Карло, до того даже, как он самому себе признался в своем чувстве. А с тех пор! Он ни разу и не вспомнил о ней. Ни единого разу! Мир перестал существовать. «Зайдите навесить нас, пожалуйста. Сильвия». Даже думать об этом было как-то неприятно. Нет, там ему не рассеять своей тоски и нетерпения.

Ему вдруг пришло в голову: почему бы, чтоб убить время в ожидании завтрашней встречи, не поехать ему на лодке по Темзе мимо ее загородного дома? Можно было еще поспеть на последний поезд.

Уже затемно добрался он до деревни, вблизи которой находился их дом, переночевал там в гостинице, а утром встал пораньше, взял лодку и поплыл вниз по течению. Дальний берег был обрывистый, поросший высокими деревьями. Солнце играло в их листве, а серебристую воду рябил легкий ветерок, клоня камыши и тихо качая водяные лилии. Через синее небо тянулся узкий белый след ветра. Леннан положил весла в лодку и отдался на волю течения, слушая, как воркуют лесные голуби, глядя, как ласточки носятся в вышине. Ах, если бы с ним сейчас была она! Провести бы так один нескончаемый день, тихо плывя вниз по реке! Хоть однажды получить передышку от

своей тоски! Их дом, он знал, находился на той же стороне, что и деревня, за островком. Она говорила ему про живую изгородь из тисов и про белую голубятню почти у самой воды. Он поравнялся с островом и медленно поплыл по боковой протоке.

Здесь, в ивняке и ольшанике, было темно даже в это солнечное утро и удивительно тихо. Грести было невозможно: негде развернуть весла; он вытащил багор и погрузил его в зеленую воду, чтобы отпихиваться ото дна, но там оказалось слишком глубоко и повсюду попадались большие коряги, так что пришлось подтягиваться, цепляясь багром за ветки. Птицы сторонились этого темного уголка, только одинокая сорока перелетела узкий клочок ясного неба над головой и скрылась за ивами. В воздухе стоял сладкий, гниловатый запах слишком сочной листвы; сияние дня здесь словно погребено было в тесной гробнице. Он был рад, когда наконец, обогнув большой тополь, выплыл на открытое место навстречу золотым и серебристым переливам утра. И сразу же увидел тисовую живую изгородь по краю ярко-зеленой полянки и белую голубятню на высоком столбе. Вокруг сидели и летали белоснежные голуби и сизые горлянки; а выше, за зеленым газоном, видна была темная веранда низкого дома, увитого отцветающими глициниями. Ветерок принес запах поздней сирени и свежескошенной травы, а с ними стрекот ручной косилки и жужжание пчел. Красивое место, и, несмотря на глубокий покой, царящий вокруг, что-то здесь напомнило ему летучую легкость, которая так очаровывала его в ее лице, в откинутых прядях ее волос, в быстром нежном взгляде ее темных глаз, — или виною тому были темные тисы, белая голубятня и полет горлинок в вышине?

Он долго сидел в лодке под самым берегом, стараясь ничем не привлечь внимания старого садовника, который размеренно катал ручную косилку взад-вперед по газону. О, как он мечтал, чтобы сейчас с ним была она! Удивительно, как это может быть в жизни такая красота и дикая нежная прелесть, что сердце щемит от восторга, и в той же жизни есть серые правила, угрюмые барьеры — гробы счастья! Зачем любви, радости закрыты двери? Ведь не так-то много любви и радости на свете. Она, сама душа этого волшебного летучего лета, заточена безвременно за тяжелыми зимними засовами угрюмого ненастья. Какое бессмысленное, злое дело! Мрачная жестокость, преступная, мертвая, узколобая расточительность! Для чего, кому

могло понадобиться, чтобы она была несчастна? Пусть даже он и не любил бы ее, все равно ему ненавистна была бы ее судьба — еще в ранней юности всякая повесть о пленной, загубленной жизни будила ярость в его сердце.

Нежные белые облака — эти светлые ангелы реки, — все время парившие неподалеку, простерли теперь свои крыла над верхушками деревьев; улегся ветер, дремотное тепло и лепет леса стекались к воде. Старый садовник кончил подстригать газон и с маленькой корзинкой зерна вышел кормить голубей. Леннан видел, как белые голуби слетались к нему, а грациозные сизые вяхири держались в стороне. Вместо этого старика ему виделась на берегу она, кормящая из руки нежных птиц Киприды.^[15] Какую замечательную скульптурную группу мог бы он сделать — она и голуби, сидящие и порхающие вокруг нее! Если бы она принадлежала ему, чего бы он не достиг, чтобы сделать ее бессмертной, подобно старым итальянским мастерам, которые уберегли своих возлюбленных от власти Времени!..

В свою лондонскую квартиру он вернулся за целых два часа до того, как можно было начинать ее ждать. Он жил один, если не считать уборщицы, которая приходила на часок-другой по утрам, подымала пыль и исчезала, и потому ему не было нужды в предосторожностях. А когда он принес цветы, фрукты и печенье — которых они, конечно, все равно не станут есть — и, накрыв к чаю стол, раз двадцать обозрел комнату, он уселся наконец с книгой у круглого окна высматривать ее на улице. Так и сидел он без движения, не прочтя ни слова, и только облизывал то и дело пересохшие губы да вздыхал, чтобы унять волнение своего сердца. Наконец он увидел ее. Она шла, держась поближе к оврагам домов, и не глядела по сторонам. На ней было батистовое платье и шляпка из блекло-кофейной соломки с узкой черной бархоткой вокруг тульи. Перешла переулок, остановилась на мгновение, торопливо оглянулась и решительно направилась дальше. Отчего он ее так любит? В чем секрет ее очарования для него? Уж, конечно, не в сознательных уловках. Наверно, никто не прилагал так мало стараний, чтобы очаровать. Он не мог припомнить ни одного ее поступка, нарочно рассчитанного на то, чтобы привлечь его. Быть может, все дело в самой ее пассивности, в ее врожденной гордости, которая ничего не предлагает и ничего не просит, в каком-то мягком

стоицизме ее природы и еще — в той таинственной прелести, так неотъемлемо, так глубоко присущей ей, как аромат присущ цветку?

Он ждал у двери и распахнул ее, когда легкие шаги прозвучали у самого порога. Она вошла, не сказав ни слова, даже не взглянув на него. Он тоже ни слова не произнес, пока не запер дверь и не убедился, что она действительно тут, у него. Потом они повернулись друг к другу. Грудь ее под легким платьем слегка вздымалась, но все же она была спокойнее его — чудесным спокойствием, не покидающим в любви красивую женщину, ибо она может сказать: «Вот воздух, дышать которым я рождена!»

Они стояли и смотрели друг на друга, словно не могли насмотреться. Потом он сказал:

— Я думал, что умру, так и не дождавшись этого мгновения. Не проходит минуты, чтобы я так стремился к вам, что жизнь мне не в жизнь.

— Вы думаете, я не стремлюсь к вам?

— Тогда приди ко мне!

Она поглядела на него печально и покачала головой.

Ну что ж, он знал, что таков будет ее ответ. Он еще не заслужил ее. Какое право у него звать ее, чтобы она пошла против всего света, чтобы презрела все, до конца доверилась ему? Он не мог настаивать, он начал вдруг понимать ту обезоруживающую истину, что отныне в его любви не ему решать; так велика была его любовь, что он перестал быть отдельным существом, наделенным отдельной волей. Он слился с нею и мог действовать лишь тогда, когда его и ее воля были едины. Никогда не скажет он ей: «Ты должна!» Он слишком сильно ее любит. И она это знает. И потому остается только забыть о своей боли и радоваться этому часу счастья. Но что ему делать с другой истиной: в любви не бывает передышки, не бывает остановок на полпути? Даже скудно поливаемый цветок будет расти, расти, покуда не настанет ему время быть сорванным... Этот оазис в пустыне, эти несколько мгновений с ней наедине, пронизанные горячим, испепеляющим ветром. Приблизиться к ней! Как не стремиться к этому? Как не жаждать ее губ, когда ему дана для поцелуев лишь ее рука? И как уберечься от горькой отравы, которую приносила мысль, что через несколько минут она покинет его и вернется к тому, другому, кто может, как бы отвратителен он ей ни был, видеть и касаться ее, когда

захочет? Она сидела, откинувшись на спинку того самого кресла, в котором воображение недавно ему ее рисовало. А он отваживался лишь взирать на нее снизу вверх, примостившись на скамеечке у ее ног. И все, что неделю тому назад представлялось ему несказанным блаженством, оказалось теперь едва ли не мукой — так далеко это было от его желаний. Мукой было заставлять свой голос звучать в согласии с трезвой ласковостью ее голоса. Он думал с горечью: «Как она может сидеть так и не томиться по мне, как я томлюсь по ней?» Потом, почувствовав прикосновение ее пальцев к своим волосам, он потерял власть над собой и поцеловал ее в губы. Она уступила лишь на секунду.

— Нет, нет, не надо!

Ее неожиданный грустный отпор сразу же его отрезвил.

Он выпрямился, отошел в сторону, просил о прощении.

Когда она ушла, он сел в кресло, где она сидела. Это объятие, этот поцелуй, который он просил ее забыть — забыть! — этого у него никто не отнимет. Он совершил проступок, он ослушался ее, нарушил законы рыцарства! А между тем улыбка несказанного счастья не сходила с его губ. Его целомудренному воображению представлялось даже, будто бы это — все, к чему он стремился. О, если бы ему закрыть сейчас глаза и умереть прежде, чем покинет его эта радость полусвершения!

Все еще с улыбкой на губах лежал он в кресле и глядел, как под потолком вьются и гоняются друг за другом вокруг лампы мухи. Мух было шестнадцать, и они все кружились, все преследовали одна другую, без передышки, без остановки!

Когда, вернувшись пешком из мастерской Леннана, Олив вошла в свою темную прихожую, она прежде всего поспешила к вешалке и окинула взглядом шляпы. Все на месте — и цилиндр, и котелок, и соломенное канотье! Значит, он дома! И в каждой шляпе по очереди она представила себе голову мужа — лицо отвернуто, и так ясно видны грубые складки на шее и на щеке. Она подумала: «Господи, хоть бы он умер! Это грешно, но я молю: хоть бы он умер!» Потом тихонько, чтобы он не услышал, поднялась наверх к себе в спальню. Дверь в его комнату была распахнута, и она подошла, чтобы закрыть ее. Он стоял там, спиной к окну.

— А! Ты вернулась! Куда-нибудь ходила?

— Да, в Национальную галерею.

То была первая сказанная ему ложь, и она, к удивлению своему, не испытала ни стыда, ни страха, а только нечто похожее на радость, оттого что может нанести ему поражение. Он был ее враг, стократ ей враг еще и потому, что в этой войне она воевала также против самой себя и, как это ни странно, ради него.

— Одна?

— Да.

— И не скучно было? Я бы на твоём месте взял себе в спутники молодого Леннана.

— Почему?

Инстинкт подсказал ей, что надо взять самый смелый тон; по ее лицу нельзя было догадаться ни о чем. Если он превосходил ее силой, она превосходила его быстротой ума.

Он опустил глаза и ответил:

— Ну, это ведь его профессия.

Пожав плечами, она повернулась и закрыла дверь. И долго сидела неподвижно на краю своей кровати. В этой схватке умов победила она, победит без труда и в других; но ей только сейчас стала до конца ясна вся мерзость ее положения. Ложь, ложь! Вот что отныне станет ее жизнью! Лгать — или же сказать «прости» всему, что ей дорого, и обречь мраку отчаяния не только себя, но и того, кто ее любит, — а во

имя чего? Чтобы тело ее оставалось во власти мужчины, который стоит там, в соседней комнате, безвозвратно утратившего власть над ее душой. Таков был выбор. Если только слова: «Тогда приди ко мне» — были не просто словами. Но так ли это? Возможно ли это? Они сулят великое счастье, если — если только его любовь к ней не была лишь весенним увлечением. А ее любовь? Как знать, больше ли она, больше ли их любовь друг к другу, чем простое увлечение весны? А не зная, как причинить всем такую боль? Как нарушить клятву, которую она всегда считала позором нарушить? Как отважиться на бесповоротный разрыв со всеми традициями и убеждениями, в которых она взращена? Но в самой природе страсти есть нечто, противящееся вмешательству обдуманных и твердых решений... И внезапно Олив подумала: «Если наша любовь не сможет остаться такой, как сейчас, и если я все-таки не в состоянии буду уйти к нему навсегда, есть ведь и еще один путь...»

Она встала и начала одеваться к обеду. Стоя перед зеркалом, она подивилась тому, что на лице у нее нет и следов тех страхов и сомнений, которые сделались теперь ее неразлучными спутниками. Не потому ли это, что вопреки всему она любит и любима? Интересно, какое у нее было лицо, когда он так страстно поцеловал ее; обнаружила ли она свою радость, прежде чем оттолкнула его?

У нее в саду над рекой были такие цветы, которые, как ни ухаживала она за ними, вырастали чахлыми и не того цвета; им нужна была другая почва. Может быть, и она тоже, как те цветы? Дайте ей только нужную почву, и она распрямится, обретет верные краски!

И тут на пороге своей комнаты она увидела мужа. До этого она не испытывала к нему настоящей ненависти, но сейчас, при взгляде на него, почувствовала, что ненавидит его слепо и яростно. Что нужно от нее ему, так пристально на нее глядящему этими властными, налитыми кровью глазами, которые в одно и то же время грозят, вожделеют и молят? Она поплотнее закутала плечи шарфом. Тогда он шагнул к ней и произнес:

— Погляди на меня, Олив.

Она повиновалась, хотя все в ней восставало против этого. Он продолжал:

— Остерегись! Говорю тебе: остерегись!

Он взял ее за плечи и притянул к себе. Она, точно утратив всякую волю к сопротивлению, стояла покорно.

— Ты нужна мне, — проговорил он. — И ты останешься моею.

И вдруг, отпустив ее, прикрыл глаза ладонями. Это испугало ее больше всего: так непохоже на него это было. Только сейчас начала она понимать, между какими грозными силами она поневоле лавирует. Она не произнесла ни слова, но лицо ее стало белым. Не отнимая ладоней, он издал какой-то звук, нечленораздельный, нечеловеческий, повернулся резко и вышел. Она упала на стул перед своим туалетом, вся во власти какого-то нового, неведомого ей ощущения: словно она утратила все, даже любовь свою к Леннану, даже потребность быть любимой им. Какая цена этому, какая цена всему в таком мире? Все отвратительно, она сама отвратительна! Все пустота! Гадость, гадость! Словно у тебя вовсе нет сердца!

И в тот же вечер, когда муж ее уехал в парламент, она написала Леннану:

«Наша любовь никогда не должна обращаться в земную, как это чуть было не произошло сегодня. Все мрак и безнадежность. Он подозревает. Вам сюда приходить невозможно: для нас обоих это будет непереносимо. У меня нет права просить вас об осторожности, мне больно думать, что вы вынуждены лгать и таиться, и сама я не в силах этого сносить. Не знаю, что мне делать, что сказать. Не пытайтесь пока меня увидеть. Мне нужно время. Я должна подумать».

Полковник Эркотт не увлекался скачками, но все же, подобно большинству его соотечественников, питал религиозное почтение к Дерби. Связанные с Дерби воспоминания восходили ко дням его детства, ибо он родился и вырос чуть не у самой проезжей дороги на Эпсом. Дважды в году — в дни больших скачек — он на своем пони выезжал смотреть, как проплывают мимо цилиндры и перья великих мира сего, котелки и перья малых сих. А потом дома, на лужайке, скакал взапуски со стариной Линдсеем, назначив финиш между коровой, она же — судья, и зарослью бурьяна, долженствовавшей изображать Главную трибуну.

Но как-то получилось, что самих скачек он так ни разу в жизни и не видел, и теперь вдруг он почувствовал, что побывать на них — его долг. С некоторой робостью изложил он свое намерение миссис Эркотт. Она читала слишком много романов — кто знает, может быть, она не одобрит? Но она одобрила, и тогда он вскользь добавил:

— Мы могли бы захватить с собой Олив.

Миссис Эркотт сухо заметила в ответ:

— А что, разве в Палате Общин нет заседаний?

Полковник буркнул:

— Этот субъект мне вовсе не нужен.

— Может быть, пригласишь Марка Леннана? — отозвалась миссис Эркотт.

Полковник поглядел на жену с глубоким недоумением. Как Долли может: называет все это трагедией и... как это?.. великой страстью, и сама же предлагает подобную вещь! Но потом морщины на его лице пришли в движение, и он крепко обхватил жену за талию.

Миссис Эркотт не устояла.

— Поезжай с Олив вдвоем, — предложила она. — У меня, по правде говоря, вовсе нет охоты туда ехать.

Когда полковник заехал за племянницей, она была уже готова, и он скрепя сердце осведомился о Крэмьере. Оказалось, что она ничего не говорила мужу о поездке.

С облегчением, но слегка смущенный, полковник осведомился:

— А он не обидится, что мы едем без него?

— Если бы он поехал, я осталась бы.

При этом спокойном ответе все прежние страхи вновь одолели полковника. Он положил свой белый цилиндр и взял племянницу за руку.

— Дорогая моя, — оказал он, — я не хочу вмешиваться, но... но, может быть, я могу что-нибудь сделать? Мне мучительно видеть, что ты страдаешь!

Он почувствовал, как она поднесла его руку к своему лицу и прижалась к ней щекой. Сердце его разрывалось. Он другой рукой, затагнутой в новую перчатку, погладил ее локоть и проговорил:

— Мы с тобой отлично проведем день, родная, и забудем обо всем.

Она поцеловала его руку и отвернулась. И полковник мысленно поклялся, что не допустит, чтобы она страдала — такая красивая, хрупкая, стройная и такая элегантная в этом жемчужно-сером платье. Он с трудом подавил волнение и долго яростно тер рукавом свой белый цилиндр, забыв, что на них не бывает ворса.

По дороге в Эпсом он был сама нежность: предупреждал все ее желания, рассказывал ей про Индию, советовался, на какую лошадь им лучше поставить. Можно бы, конечно, на герцогского жеребца, но есть другая лошадка, которая ему особенно по сердцу. Ему назвал ее Тейбор — тот самый Тейбор, у которого были лучшие в Индии лошади арабской породы, — и ставки очень приличные. Как всякому новичку, полковнику приятно было помечтать, чтобы выбранная им лошадь принесла ему как можно более ощутимый выигрыш, если уж ей суждено выиграть; о проигрыше он и не думал. Одним словом, надо поглядеть на нее своими глазами, и тогда уже самим судить. Надо пройти туда, где сейчас прогуливают лошадей, — там, в стороне от гама и пыли, и Олив будет лучше. Однако, добравшись до ипподрома, они не стали смотреть первые скачки: гораздо важнее было, по мнению полковника, пойти сначала перекусить. Он хотел, чтобы краски заиграли на ее лице, хотел услышать ее смех. У него был пропуск в павильон его старого полка, где шампанское подают наверняка лучшего качества. И он был горд показаться там с нею — ни на что на свете не променял бы он восторженных взглядов, которыми награждали ее все эти юнцы; хотя вообще-то приводить туда даму

было против правил. Только перед самым началом вторых скачек подошли они к загону, где прогуливали лошадей, которым еще предстояло скакать. Лошади вышагивали не спеша, каждая в сопровождении отдельной свиты знатоков, скользящих взглядами по их стройным ногам и крутым бокам в попытке определить, оправдаются ли их надежды, и двух-трех любителей из тех, что просто получают удовольствие от вида хорошей лошади. Они скоро увидели лошадь, про которую говорили полковнику. Гнедая, с белой звездочкой во лбу, она прохаживалась в дальнем углу. Полковник, понимавший толк в лошадях, пришел в восхищение. Ему понравилась ее голова, понравились ее бабки, но всего более понравился ее глаз. Прелестное создание, вся ум и огонь. Разве чуть-чуть жестковата в плечах: это может помешать на склоне. И вдруг, любуясь лошадью, он поймал себя на том, что перевел взгляд на свою племянницу. Какая породистость; какие тонкие дугой брови, маленькие уши, узкие, изящные ноздри; а как она движется — уверенно, упруго. Нет, она слишком хороша, чтобы страдать! Какая подлость! Не будь она так хороша, юный Леннан в нее не влюбился бы. Не будь она так хороша собой, этот муж ее тоже не стал бы... Полковник опустил глаза, потрясенный своим случайным открытием. Не будь она так хороша собой! Значит, в этом вся суть происходящего? Циничный смысл собственного умозаключения совершенно его ошеломил. И все-таки что-то в глубине души подсказывало ему, что так оно и есть. Ну и что же? Неужели он позволит, чтобы эти двое разорвали ее пополам, погубили ее из-за того, что она так хороша? Неожиданное открытие, что страсть рождается из преклонения перед красотой и горячей кровью, перед прекрасными линиями и красками, глубоко его взволновало, ибо у него не было привычки философствовать. Мысль эта казалась ему до странности грубой, даже безнравственной. Что же она, вот так, очутилась между двумя неотступными желаниями — словно птица меж двух ястребов, яблоко меж двух ртов? Ему никогда не приходило в голову, что на вещи можно смотреть так. Он представил себе, как муж держит ее мертвой хваткой, а Леннан, который кажется таким деликатным юношей, выбирает минуту, чтобы тоже вцепиться в нее; представал себе, как, когда она отцветет, подурнеет, утратит свою красоту, их алчность, да и алчность всякого мужчины, сразу пропадет, исчезнет, — и от мыслей этих ему становилось тем больше, что

пришли они так внезапно и он был к ним так неподготовлен. Трагедия! Так сказала Долли. Странные, скорые на суждения — таковы женщины. Но потом он вспомнил свою решимость доставить ей за этот день побольше удовольствия и поспешил снова заняться рассматриванием приглянувшейся им лошади. Пожалуй, можно поставить на нее десять фунтов, и пора как будто бы поторопиться назад на трибуну. Они направились туда, и полковник обратил внимание на стоящего под деревом человека — он готов был поклясться, что это Леннан. Хотя, конечно, какой художник станет ездить на скачки? Но тем не менее это и в самом деле был молодой Леннан, одетый тщательно и в цилиндре. К счастью, он смотрел в другую сторону. Полковник ничего не сказал Олив, ему не хотелось — тем более, с такими, как у него, мыслями — брать на себя ответственность, и он повел ее ко входу, радуясь собственной зоркости. Там в давке ее на минуту от него оттерли, но вскоре она уже опять была подле него; и он еще больше возрадовался тому, что не произошло ничего такого, что могло бы расстроить Олив и испортить ей день. Щеки ее теперь горели, в глазах появился блеск. Она была возбуждена, без сомнения, мыслями о предстоящей скачке и о «десятке», которую он собирался за нее поставить.

Позже он рассказывал миссис Эркотт:

— Эта гнедая кобыла, которую указал мне Тейбор, пришла чуть не последней — под гору она вовсе не берет, — я это сразу понял, только посмотрел на нее. Но девочка развлеклась. Жалко, что тебя с нами не было, дорогая!

О своих глубокомысленных размышлениях и о мельком увиденном Леннана он не упомянул, потому что по дороге домой у него вдруг возникло черное подозрение: может быть, молодой человек все-таки видел их и ухитрился в этой давке у входа на трибуну подойти к Олив?

Ее письмо раздуло пламя в груди Леннана, как ничто еще его не раздувало. Земная любовь! Неужели это земное: любить так, как любит он? А если это и есть земное, то он никогда в жизни не променяет его на самое небесное. Читая ее неожиданное письмо, он перешел свой Рубикон и сжег корабли. Бледный призрак рыцарского послушания больше не маячил перед ним. Он понял, что остановиться он уже не в силах. Раз она просит, он, разумеется, не будет добиваться встречи с ней — пока. Но когда они снова встретятся, тогда он начнет битву — битву за свою жизнь; допустить же, что она хочет навсегда от него ускользнуть, он не мог, мысль эта была чересчур уж непереносима. Не может она этого хотеть! Не может она поступить так жестоко! Нет, нет, в конце концов она придет к нему! Весь мир, самую жизнь готов он отдать за ее любовь!

Приняв решение, он смог даже вернуться к работе и весь вторник лепил большую фантастическую фигуру человека-быка, которую задумал тогда в Болье, после ухода полковника Эркотта. Он трудился над ней с какой-то злобной радостью. Он вложит в свое создание тот дух собственности, который разлучает ее с ним. Пальцы его давили глину, и ему казалось, будто он сжимает горло Крэмбера. А между тем теперь, когда он решил, что отнимет ее, если сумеет, ненависть его утихла. В конце-то концов этот человек ее любит, он не виноват, что противен ей; не виноват, что она его собственность — телом и душой!

Наступил июнь, и небо сияло такой синевой, что даже лондонское пыльное пекло не могло заставить ее потускнеть. В каждом сквере, в каждом парке, над каждым зеленым газоном воздух дрожал жизнью и музыкой птичьих голосов, льющихся с тонких качающихся веток. Шарманки на улицах не надрывались больше, тоскуя по южным странам; и влюбленные уже сидели в тени деревьев.

Оставаться в четырех стенах в те часы, когда он не работал, было для Леннана чистейшей мукой, ибо он не мог читать и вообще утратил всякий интерес к обычным развлечениям и занятиям, составляющим жизнь человека. Все внешнее словно опало, отсохло, и осталось только состояние духа, настроение ума.

Лежа без сна в постели, он думал о прошлом, и оно представлялось ему пустым — все расплылось, растаяло в пламени его теперешнего чувства. Так сильно было в нем ощущение полной оторванности от мира, что ему просто не верилось, что все, хранившееся в его памяти, действительно когда-то с ним происходило. Он весь был теперь в огне, и, помимо этого огня, ничего не существовало.

Бродить под открытым небом, особенно среди деревьев, было его единственным утешением.

В тот вечер он долго сидел под развесистой липой на откосе над Серпентайн. В воздухе чуть веял ветерок, его силы едва хватало, чтобы поддерживать еле слышный лепет листьев. Что, если бы люди, прожив свои жизни, то спокойные, то бурные, становились деревьями? Что, если кто-нибудь страдавший, издевавший тоску и муку, простирал теперь над ним этот лиственный покой — эту иссиня-черную тень на звездном небе? А может быть, и звезды — это души мужчин и женщин, навсегда обретших успокоение от любовной тоски? Он отломил веточку липы и провел ею по лицу. Она еще не цвела, но пахла острой свежестью даже здесь, в Лондоне. О, если бы хоть на миг он мог вырваться из собственного сердца и отдохнуть среди деревьев и звезд!

На следующее утро письмо от нее не пришло, и скоро он уже утратил способность работать. Был день Дерби. Он решил поехать в Эпсом. Может быть, он увидит там ее. А если и нет, то все же сумеет немного развлечься, разглядывая толпу и лошадей. Он заметил ее возле лошадей задолго до того, как зоркие глаза полковника Эркотта углядели его; и, протолкавшись в толпе у входа на трибуну, успел коснуться ее руки и шепнуть: «Завтра в Национальной галерее в четыре часа, под „Вакхом и Ариадной“, ради Бога!» Ее стянутая перчаткой рука сжала ему пальцы — и их разлучили. Он не пошел на трибуну, он почти и дышать не мог от счастья...

Назавтра, сидя в ожидании под назначенной картиной, он, словно заново, с удивлением ее разглядывал. Потому что в темном, звездами увенчанном небе и в глазах бегущего Бога ему виделось воплощение собственной страсти. Разве в душе своей и он не мчался вот так всегда к ней? Летели минуты, но ее все не было. Что с ним будет, если она не придет? Он умрет от горя и отчаяния... Он еще не постиг тогда

живучести человеческого сердца, которое, как бы жестоко ни ранила, ни раздирала жизнь, все равно продолжает биться... И тогда, совсем не оттуда, откуда он ждал, пришла она.

Молча направились они в тихие залы, где висели акварели Тернера. Никого, если не считать двух французов и какого-то старичка-чиновника, не было там, когда они, медленно пройдя перед этими маленькими картинками, очутились у дальней стены зала и он, не видный, не слышный никому, кроме нее, мог начать!

Все заранее приготовленные аргументы сразу забылись; осталась лишь несвязная жаркая мольба. Для него нет без нее жизни; а ведь лишь однажды дается жизнь, чтобы человек любил, лишь одно лето отпущено каждому. Там, где нет ее, стоит тьма, даже солнце и то черно. Уж лучше умереть, чем жить такой лживой, разбитой жизнью врозь. Лучше умереть сразу же, чем продолжать это существование, тщетно стремясь друг к другу, терзаясь и мучаясь тоской, с болью видя страдания любимого. И во имя чего? Его бесит, убивает мысль о том, что этот человек прикасается к ней, когда он ей ненавистен. Это позор всему племени мужчин; этому стыдно способствовать. Клятва, когда от нее осталась лишь мертвая буква, — не более как предрассудок, и губить свою жизнь во имя нее — просто грех. А общество — она же знает, не может не знать — обращает внимание лишь на форму, на внешность. И велика ли важность, что думает общество? Оно бездушно, бесчувственно, оно ничто. А когда говорят, что нужно жертвовать собой во имя других людей, чтобы на свете лучше жилось, — это было бы справедливо, если только любовь несерьезная, эгоистичная. Но когда двое так любят, всем сердцем, всей душой и готовы каждую минуту умереть за любимого, а друг без друга не видят смысла ни в чем, — тогда никому не будет прока, если они убьют свою любовь и все счастье своей жизни и будут влачить существование, подобное смерти заживо. И даже если он ошибается, все равно он готов совершить эту ошибку, и будь что будет, он все возьмет на себя! Но это не ошибка, не может это быть ошибкой, раз они так чувствуют!

Он изливал свои мольбы, а глаза его все искали отзыва, ответа на ее лице. Но она только повторяла: «Не знаю... я не знаю... о, если б только знать!» Тогда он умолкал, потрясенный до глубины души, пока взгляд ее или прикосновение вновь не исторгали из его уст мольбу: «Ведь ты же любишь меня — что нужды нам во всем остальном!»

И все начиналось сначала в этом пустом зале, предназначенном совсем для другого, куда двое французов не заглядывали из деликатности, а старый чиновник — по лени. Но постепенно все сузилось, свелось к одному отчаянному, настойчивому вопросу:

— Что, что вас страшит?

Но в ответ раздавалось все то же печальное: «Не знаю... не знаю», — сковывая душу беспощадной монотонностью.

Напрасны и мучительны были эти попытки сломить ее непонятное, гнетущее, призрачное сопротивление; воевать с вымышленными сомнениями и страхами, которые из-за немоты своей даже ему начинали представляться реальными! Хоть бы она сказала ему, что ее страшит! Во всяком случае, не бедность — это совсем на нее не похоже, — да у него есть средства, хватит им обоим. И не утрата положения в обществе, ведь оно ее только гнетет! И уж, конечно, не мысль, что он ее разлюбит! Так что же? Во имя Господа — что?

Завтра, сказала она ему, она уезжает в свой загородный дом, одна; а почему бы вместо этого ей сейчас вот, сию же минуту не поехать к нему? И они отправятся — сегодня же — снова на Юг, где расцвела их любовь. Но опять в ответ: «Не могу... Не знаю... Не сейчас...» А в глазах у нее все равно горел задумчивый свет любви... Как могла она отстраняться, питать сомнения? Но, вконец измученный, он больше не возобновлял свои мольбы, не спорил даже, когда она сказала:

— Теперь уходите. Дайте мне вернуться одной. Я напишу... может быть, скоро... я буду знать.

Он только вымолил один поцелуй и, получив его, быстро прошел мимо скучающего чиновника и покинул галерею.

Он вернулся домой, охваченный усталостью, которая, однако, была все же не отчаянием. Он сделал попытку, потерпел поражение, но в душе у него по-прежнему жила непобедимая надежда любящего... Легче в разгар июня задуть биение лета, отнять у цветов их разгорающиеся краски, у пчел и жуков дремотное жужжание, чем убить в душе любящего веру в свершение его любви...

Он лег на кушетку и долго лежал так, без движения, прижавши лоб к стене. Воля его стала оживать для новых усилий. Какое счастье, что она уезжает от Крэмбера, уезжает туда, где он рисовал ее себе кормящей голубей! Никакие законы, никакие страхи, ни даже собственные ее повеления не помешают ему рисовать себе ее каждый час, каждый миг. Стоило ему закрыть глаза, и еда являлась перед ним.

Звон дверного колокольчика, многократно повторенный, положил конец его грезам и поднял его с кушетки. Он открыл — на пороге стоял Роберт Крэмбер. И при виде его летаргия Леннана уступила место холодной ярости. Что ему нужно здесь? Или он шпионил за женой? Вернулась прежняя жажда схватиться с ним не на жизнь, а на смерть. Крэмбер был, вероятно, лет на пятнадцать старше, но выше ростом, мускулистее, грузнее. Шансы, стало быть, почти равны!

— Войдите, пожалуйста, — сказал он.

— Благодарю.

В его голосе звучала та же издевка, что и тогда, в воскресенье, и Леннан вдруг подумал, что Крэмбер ожидал застать здесь свою жену. Но во всяком случае он ничем не выдал своего подозрения и, не озираясь по сторонам, прошел в мастерскую неторопливыми шагами, примечательно легкими и верными для такого крупного мужчины.

— Так вот, значит, где, — проговорил он, — творите вы свои шедевры! Что-нибудь гениальное после приезда?

Леннан снял покровы с неоконченной фигуры своего быкочеловека. Он испытывал злорадное удовольствие. Узнает ли Крэмбер себя в этом существе с ушами, похожими на рога, и с большим шишковатым лбом? Если он, готовый затоптать ее счастье,

пришел сюда насмеяться, что ж, тогда он по крайней мере получит то, с чем пришел сам. Леннан ждал.

— А, понятно. Вы решили украсить беднягу рогами.

Если Крэмьер и понял, он не побоялся приписать замыслу скульптора циничный юмор, о котором тот и не думал. Молодой человек не мог не отдать ему должное и испытал нечто вроде укоров совести.

— Это не рога, — мягко пояснил он, — просто уши.

Крэмьер поднял руку и пощупал собственное ухо.

— Не совсем похоже на человеческие уши, а? Впрочем, вы, наверно, называете это символики. Что же, позвольте спросить, она выражает?

Всю мягкость Леннана как рукой сняло.

— Если этого не видно без пояснений, значит, скульптура не удалась.

— Нет, отчего же. Если я правильно разгадал ваш замысел, он должен еще что-то топтать?

Леннан тронул подножие скульптуры.

— Это прерванная кривая линия... — И вдруг, охваченный отвращением к словесному поединку, замолк. Зачем пришел этот человек? Что-то ведь ему нужно? И словно в ответ, Крэмьер сказал:

— Кстати, на другую тему: вы часто видите с моей женой. Я только хотел заметить вам, что буду рад, если это прекратится. Я думаю, откровенность в данном случае не помешает.

Леннан поклонился.

— Вам не кажется, — проговорил он, — что решать следовало бы ей?

Эта массивная фигура, эти угрожающие глаза! Словно тяжелый сон наяву!

— Нет, мне так не кажется. Я не из тех, кто предоставляет событиям идти своим чередом. Прошу понять меня. Если вы станете между нами, вам же будет хуже.

Леннан молчал мгновение, потом спокойно сказал:

— Что значит стать между двумя людьми, у которых нет ничего общего?

Жилы на лбу Крэмьера вздулись, лицо и шея сделались пунцовыми. Леннан со странным облегчением подумал: «Сейчас он

меня ударит». И сам едва удерживал свои руки, которые так и рвались первыми вцепиться в эту толстую, могучую шею. Задушить бы его и разделаться с ним навсегда!

Но Крэмьер вдруг круто повернулся на каблуке.

— Я вас предупредил, — бросил он через плечо и вышел.

Леннан перевел дух. Ну что ж! Теперь он знает, с чем имеет дело. Ударь его Крэмьер, и он бы, не задумываясь, вцепился ему в шею и сжимал бы, пока жизнь под его руками не угасла. Никакие силы не разжали бы его пальцев. Мысленно он видел себя принимающим сокрушительные, беспощадные, убийственные удары этих тяжелых кулаков, но упорно не отнимающим рук от могучей шеи, по капле выдавливая из нее жизнь. Он даже чувствовал, он явственно чувствовал, как пробегает последний трепет по грузному телу, как оно покачнулось и рухнуло, потащив и его за собой, и замерло, вытянувшись на полу... Он прикрыл глаза ладонью. Слава Богу, этот человек его не ударил!

Он подошел к входной двери, отворил ее и остановился на пороге, прислонившись спиной к косяку. Все было спокойно и сонно в тихом затоне этой пустынной улочки. Нигде ни души. Какая тишина для Лондона! Только птицы поют. Где-то по соседству играли Шопена. Странно. Он и забыл, что существуют такие вещи, как Шопен. Мазурка! Кружится, точно волчок, кружится, кружится... Зловещая песенка!

Так что же теперь? Ясно только одно: он скорее умрет, чем отступится от нее! Да, да, скорее умрет! Любить ее, добиться ее — или же отказаться от всего и пойти на дно под звуки мазурки, что все кружится да кружится, — эта плясовая панихида лету!

Олив подолгу простаивала у реки.

Что таится там, под покровом сверкающих вод? Какая там загадочная, колеблющаяся жизнь, глубоко под рябью от залетного ветерка, глубоко под тенью прибрежных ив? Есть ли и там, в глубине, любовь? Любовь между чувствующими существами там, где царит почти полный мрак, — или же вся страсть поднялась кверху, чтобы шелестеть в камышах и качаться с водяными лилиями в ярком солнечном свете? Есть ли там краски? Или же они погибли под водою? Ни запахов, ни музыки; но зато там есть движение — движение для всех этих смутных, безглазых созданий, клонящихся, льющих по глубинным течениям, — как для листвы осин, в которой ни на миг не замирает трепет, и для крылатой стаи облаков. А если там, внизу, мрак, то мрак и здесь, над водой, и болят сердца, и глаза точно так же ищут то, что не приходит.

О, видеть, как река все течет и течет мимо, к далекому морю, не оглядываясь, не отклоняясь; катится своим путем, равнодушная, как судьба, — темная или сверкающая золотом и лунным светом в эти божественные дни и ночи, когда каждый цветок в саду, в лугах и на берегу полон благоухающей жизни; когда шиповник вызвездил проселки и папоротник в лесу уже вырос высокий...

Она жила не одна, хотя предпочла бы одиночество; через два дня из Лондона приехали ее дядя с теткой. Их пригласил Крэмьер. Но сам он еще не приезжал ни разу.

Каждый вечер, пожелав миссис Эркотт спокойной ночи, она по широким ступенькам подымалась к себе в комнату и садилась у окна писать письмо Леннану, а подле горела лишь одна свеча — один бледный язычок огня делил с ней эти часы, словно то был его дух, пребывавший с нею. Каждый вечер изливала она ему свои сомнения и надежды и каждый раз заканчивала словами: «Потерпи, повремени!» Она все еще дожидалась храбрости, чтобы перейти через темную грань неуловимых сомнений и опасений, — того страха, которого она даже самой себе не могла выразить словами. Кончив писать, она подходила к открытому окну и глядела в ночь. По лужайке перед

домом, закутавшись от росы в плащ, расхаживал обычно полковник Эркотт, выкуривая сигару на сон грядущий, и она различала из окна ее красный огонек; а дальше призрачно белела голубятня; за ней, внизу, струилась река. И она крепко прижимала к груди руки — чтобы не протянуть их из окна.

Каждое утро она просыпалась рано, одевалась и, незаметно выскользнув из дому, бежала в деревню отправить письмо. Из леса за рекой доносилось воркованье диких горлинок, словно сама Любовь каждое утро заново взывала к ней. Еще до завтрака успевала она возвратиться, подняться в свою комнату, чтобы оттуда сойти вниз будто бы первый раз. Полковник, встречая ее на лестнице или в коридоре, говорил: «Ага, милая, опять я тебя опередил! Хорошо спала?» И, чувствуя на своей щеке ее губы, скользящие под определенным углом, специально предназначенным для дядюшек, он никогда бы не подумал, что она уже совершила дальнюю прогулку по утренней росе.

Теперь, когда она терзалась муками нерешительности, которым уже виделся конец, так или иначе суливший великие перемены в ее жизни; теперь, когда ее окружил вихрь чувств, она ни единым знаком себя не выдавала; и полковник с женой, поддавшись обману, стали уже верить, что ничего особенного с их племянницей не произошло. Для них это было большим облегчением, ведь за те две недели под их надзором в Монте-Карло им трудно было с чистой совестью отчитаться. Коротать теплые, сонные дни немножко за крокетом, немножко в лодке на реке, а большей частью просто сидя в саду, где полковник читал вслух Теннисона, было очень приятно. Ему самому — если не его супруге — особенно дорого было это пребывание за городом теперь, «когда в Лондоне такая толчея». Так и текли эти первые июньские дни, и каждый был прекраснее предыдущего.

Но однажды в пятницу, под вечер, без предупреждения явился Крэмьер. В Лондоне слишком уж жарко... в парламенте ничего интересного... Этот Юбилей все вверх дном перевернул... У них здесь, за городом, куда лучше!

В молчании прошел этот обед.

Миссис Эркотт заметила, что он пьет вино, как воду, и по несколько минут кряду не спускает с жены своих глаз, тяжелых, словно от бессонницы, но смотрит ей не в лицо, а на горло. Если Олив

и вправду ненавидела и боялась этого человека — как считал Джон, — то она скрывала свои чувства с большим умением. Для женщины с таким бледным цветом лица она в этот вечер выглядела восхитительно! Быть может, солнце слегка тронуло ее щеки. Это черное, с низким вырезом платье шло ей, миланские кружева на нем так подходили к цвету ее кожи, а на груди у нее была приколотая одна гвоздика, темно-темно-красного цвета. Глаза ее иной раз и в самом деле бывают словно черный бархат. Бледным женщинам к лицу, когда у них такие глаза, которые кажутся по ночам совершенно черными! Она и разговаривала и смеялась больше обычного. Поглядеть, так жена от души радуется приезду мужа. Но было что-то — что-то в воздухе, во всей обстановке, — какая-то нацеленная пристальность его взгляда — или это гроза собиралась после такой жары... Ночь и в самом деле противоестественно черна и тиха, ни дыхания ветерка, и страшно много бабочек, которые все летят, летят через полосу света, словно маленькие бледные призраки, перебирающиеся через реку! Миссис Эркотт улыбнулась, образ ей понравился. Бабочки на огонь! Мужчины, как ночные бабочки: есть женщины, к которым их неодолимо тянет, хотят они этого или не хотят. Да, в Олив есть что-то такое, что влечет к ней мужчин. Не кокетство — надо отдать ей справедливость, — но какая-то мягкость и... неотвратимость, точно пламя свечи для этих бедных бабочек. У Джона глаза становятся совсем незнакомыми, когда он смотрит на Олив; и у Роберта Крэмьера тоже — какой у них странный пьяный взгляд! И у того, другого — бедный молодой человек! Она не забыла, какое у него было лицо, когда они столкнулись с ним в парке.

Когда после обеда они сидели на веранде, все четверо были молчаливее, чем раньше, — просто сидели и смотрели, как дымки от их папирос поднимаются отвесно ввысь, словно ветер вовсе покинул пределы земные. Полковник дважды делал попытку заговорить о луне — пора бы уж ей и взойти. Сегодня должно быть полнолуние.

А потом Крэмьер сказал:

— Накинь-ка шарф, Олив, и пойдем погулять со мной по саду.

И тогда миссис Эркотт признала про себя, что Джон был прав. Черные глаза метнулись в одну сторону, в другую, будто птица, ищущая пути на волю; потом Олив поднялась и спокойно ушла с ним по садовой дорожке, и вскоре их фигуры затерялись во мраке.

Встревоженная до глубины души, миссис Эркотт встала и подошла к мужу. Он хмурился, устремив взгляд на свою туфлю, которая качалась у него на большом пальце ноги. Он оглянулся на жену и протянул руку. Миссис Эркотт сжала его пальцы: она нуждалась в утешении.

Полковник Эркотт сказал:

— Тяжело сегодня дышится, Долли. Не нравится мне эта тяжесть.

XVII

Не обменявшись ни единым словом, они прошли мимо лавровых и калиновых кустов к самому берегу реки; здесь он повернул направо и зашагал, минуя голубятню, к тисам. В непроглядной тьме под их густой листвой он остановился. Тишина, стоявшая кругом, казалась ей гнетущей; если б хоть легчайшее дуновение ветерка, хоть еле слышный шелест камышей на воде, хоть единой птицы сонной трепыханье, — но нет, ничего, только слышно, как дышит он, глубоко, неровно, с всхлипом. Для чего он привел ее сюда? Показать, до какой степени она в его власти? Когда же он заговорит, когда скажет то, что решил сказать? Только бы он к ней не прикасался!

Потом он пошевелился, и камень у него из-под ноги с плеском упал в воду. Тихий испуганный возглас сорвался с ее уст. Как черна под ними вода! Но вот за смутной громадой старого тополя из-за того берега проступило трепетное мерцание и медленно растеклось по черноте неба; всходила луна — тяжелая золотая монета, над верхушками леса показался блестящий край. И от этого теплого света радостнее стало у нее на сердце — хоть одно дружественное начало нашлось в окружающей тьме.

И вдруг его руки легли ей на талию. Она не шелохнулась — только сердце ее отчаянно билось и какая-то мольба вырвалась из глубины его, замерев у нее на губах. В этих тяжелых ладонях затаилась такая могучая сила!

Голос его прозвучал глухо, непривычно.

— Олив, так не может продолжаться. Я страдаю. Бог мой! Как я страдаю!

Больно и странно было ей это услышать. Он страдает? Она желала ему смерти, но, видит Бог, причинять ему страдания она не хотела! Но, схваченная его ладонями, она не могла его жалеть.

Он издал какой-то звук, почти стон, и упал на колени. Чувствуя, как крепко держат ее его руки, она попыталась оттолкнуть его лоб, прижавшийся к ее телу. Лоб был горячий, как огонь. Она расслышала слова: «Сжался! Люби меня хоть немного!» Но ладони его, ни на секунду не перестававшие шарить по тонкому шелку ее платья,

вызывали у нее дурноту. Она попробовала высвободиться, но не смогла; и тогда, вновь застыв, она обрела голос:

— Сжался? Разве я могу заставить себя любить? Этого от сотворения мира не мог никто. Встань, прошу тебя, встань. И отпусти меня.

Но он тянул ее вниз, к себе, — и она упала на колени в траву; лицо ее оказалось у самого его лица. Он глухо стонал. Это было ужасно. И он продолжал молить ее, путаясь в словах, не глядя ей в глаза. Ей казалось, что это никогда не кончится, что никогда не отпустят ее эти сильные руки и не спрятаются ей от его прерывистого, сбивчивого шепота. Она замерла, словно окаменела, и закрыла глаза. И тогда почувствовала, как взгляд его, впервые за этот вечер, устремился ей в лицо. Значит, пока глаза ее были открыты, он не отваживался на нее глядеть, боясь прочесть в ее взгляде то, что она чувствовала. И очень тихо она проговорила:

— Пожалуйста, отпусти меня. Мне дурно.

Он разжал руки; она опустилась в траву и лежала без движения. Было так тихо, что она не знала даже, здесь ли он или ушел, но вдруг его горячая ладонь легла на ее голое плечо. Она содрогнулась, прижалась к земле, и тихий стон сорвался с ее губ. Он отдернул руку, и когда она наконец подняла голову, его уже не было.

Дрожа, поднялась она на ноги и вышла из-под тени тисов. Она пыталась думать, пыталась понять, что сулило все это ей и ему, ее возлюбленному. Но мыслей не было. В голове у нее стояла та же душная тьма, что и в ночи вокруг. Ах, но ведь ночи дан этот бледно-золотой луч луны, ей же — ничего, ни малейшего просвета; так не рассеешь тьмы, скопившейся в глубине этих черных вод.

Она провела ладонями по лицу, по волосам, по платью. Сколько времени прошло? Давно ли она здесь, в саду? И она медленно пошла к дому. Слава Богу! Она не поддалась ни страху, ни жалости, не вымолвила ни слова лжи, не притворялась, что сможет полюбить его, — не предала своего сердца! Это было бы ужасно. Она долго стояла, глядя на клумбы, словно хотела различить будущее в темной гуще цветов, потом собралась с духом и вошла в дом. На веранде никого не было, в гостиной тоже. Она взглянула на часы — почти одиннадцать! Распорядившись, чтобы закрыли окна, она крадучись поднялась к себе. Может быть, ее муж уехал так же вдруг, как и

приехал? Или ей снова предстоит очутиться лицом к лицу с ужасом, который не покидал ее ни на мгновение, — ужасом перед ночью, когда он рядом? Она решила вовсе не ложиться в постель и, придвинув к окну шезлонг, закуталась в халат и откинулась на спинку.

Цветок со своей груди, чудом не пострадавший во время сцены во тьме сада, она отколола и поставила в воду на подоконнике подле себя — любимый цветок Марка, как он признался ей однажды. Приятно было, что он стоял рядом, приятен был аромат его, и цвет, и память о Марке...

Как странно, что за всю жизнь, где столько было лиц, столько людей, она никого не любила, пока не встретила с Леннаном! Она даже уверена была, что любовь никогда не придет к ней, — да и не очень к ней стремилась; думала, что проживет вот так, благополучно, до самой смерти, не изведав и не мечтая изведать летнего расцвета. Теперь Любовь мстила ей за всю ту любовь, которой она пренебрегла в прошлом; даже за ту единственную ненавистную ей любовь, которая сегодня стояла перед ней на коленях. Говорят, что каждому человеку суждено пройти через это один раз в жизни — изведать это волшебство, это темное сладостное чувство, возникающее неведомо как и откуда. Раньше она не верила, теперь она знает. И что бы ни ожидало ее, иного она не хочет. Все на свете изменяется, значит, и она изменится, станет старой, некрасивой, и ему нечем уж будет в ней любоваться, но то, что заключено в ее сердце, измениться не может. Это она знает. Словно что-то ей говорило: «Это навсегда, и в жизни, и в смерти — это навеки! Он станет прахом, и ты станешь прахом, но любовь ваша будет жить! Где-нибудь — в лесной чаще, или среди цветов, или в темной глубине вод — поселится она навеки! Для нее одной была вся ваша жизнь!..» Вдруг она заметила, что изящная среброкрылая бабочка, какую ей никогда не случалось видеть, села ей на грудь у воротника. Казалось, она спала, такая нежная, сонная, прилетев из этой душной темноты, приняв, верно, белизну шелка за свет. Какое смутное воспоминание будила эта бабочка? Что-то связанное с ним, что-то такое, что он делал, — в темноте, вот в такую же ночь... Ах, да! В тот вечер после Горбио ночная бабочка-совка у нее на колене! Он коснулся ее тогда, снимая это нежное, бархатистое создание с ее платья.

Душно. Она облокотилась о подоконник. Как прекрасна эта ночь, чьи звезды попрыгали в тяжелых складках зноя, чья маленькая круглая золотая луна светит непрозрачным светом! Ночь, точно черный цветок с золотым сердечком. И какое безмолвие вокруг! Из деревьев, всегда лепечущих по ночам, даже осина сейчас стояла безгласная. Щека ощущала неподвижный воздух как вещественную реальность сновидения. Но во всей тишине какое чувство, какая страсть, точно в ее сердце! Неужели она не может выманить, притянуть к себе его из этого леса, от этой черной мерцающей реки, притянуть от цветов, и от деревьев, и от дышащего страстью неба — притянуть прямо к себе, томящейся тут, у окна, и тогда она не будет больше томиться, но станет одно с ним и с этой ночью! И она уронила голову на руки.

Всю ночь провела она у окна. Иногда задремывала в кресле; один раз пробудилась, вздрогнув, с ясным чувством, что муж только что наклонялся над нею. Быть может, он правда был здесь и неслышно удалился? Потом подошел рассвет — росно-серый, дымчатый, печальный, овивался он вокруг каждого темного ствола и вокруг белой голубятни и пал длинным шарфом на гладь реки. Птичий щебет пробудился в гуще листьев, еще неразличимых.

И тогда она уснула.

XVIII

Когда она с улыбкой проснулась, был день, и перед нею стоял Крэмьер. Его лицо, темное и горькое, обрюзгло, как от глубокой усталости.

— Вот как! — проговорил он. — Даже когда вы спите сидя, вас посещают сладкие сны. Не хочу нарушать их. Я возвращаюсь в город.

Подобно испуганной птице, она замерла, забилась поглубже в кресло и глядела ему в спину, пока он стоял у окна. Потом он снова повернулся к ней и сказал:

— Но запомни: что не дано мне, не достанется и другому. Ты поняла меня? Никому другому! — И он наклонился к самому ее лицу, повторяя: — Ты поняла меня, преступная жена?

Четыре года покорялась она прикосновениям, которые были ей омерзительны, четыре года — одно долгое усилие подавить свое омерзение! Преступная жена! Пусть он убьет ее — она ничего не ответит.

— Ты слышала? — еще раз повторил он. — Так что подумай. Я не шучу.

Он так сжал подлокотники ее кресла, что оно дрогнуло. Может быть, сейчас он опустит кулак прямо ей в лицо, на котором ей удалось сохранить улыбку? Но вместо этого во взгляде у него появилось какое-то новое, непонятное ей выражение.

— Ну вот, — сказал он. — Так и знай.

И тяжело зашагал к двери.

Как только дверь закрылась за ним, она вскочила. Да, она преступная жена! Жена, которая дошла до последнего предела. Жена, которая не любит, а ненавидит. Жена-узница! Преступная жена! Ей все равно не верят, всякие жертвы — это лишь глупость! Если она кажется ему обманщицей, для чего притворяться, что это не так? Нет, больше она не будет, говоря словами старой песни, «сидеть и вздыхать и горячие стебли ломать». Больше она не станет томиться жаждой любви, и в ночи не будет отдаваться биению боли, как минувшей ночью, когда все болело и билось, дыша страстью, которой не было выхода.

Одеваясь, она дивилась, что в лице у нее совсем не видно усталости. Скорее! Скорее отправить возлюбленному весточку, чтобы поспешил к ней, пока свободен путь, ибо она уходит к нему, покидает свою темницу! Она пошлет ему телеграмму, чтобы он сегодня же вечером подошел на лодке к большому тополю. Она звана сегодня вместе с дядей и теткой обедать к священнику, но в последний момент скажет, что у нее разболелась голова, и останется. Когда Эркотты уйдут, она выскользнет из дому, и они вдвоем переплывут на тот берег, в лес, и проведут там два часа блаженства. И надо будет еще составить ясный план действий, ибо с завтрашнего утра начнется их жизнь вместе. Но из деревни отправлять эту телеграмму небезопасно, нужно пройти до моста и на ту сторону, чтобы послать ее с той почты, где ее не знают. До завтрака она не успеет. Да и лучше потом, когда она твердо будет знать, что муж уехал. Для телеграммы будет еще не поздно: Леннан никогда не уходит из дому, пока не дожидается дневной почты, с которой получает ее письма.

Она окончила туалет и, зная, что не должна выказывать никаких признаков возбуждения, несколько минут просидела в совершенной неподвижности, вынуждая себя совсем успокоиться. Потом спустилась вниз. Ее муж уже позавтракал и уехал. И она, что бы ей ни приходилось делать или говорить, все время улыбалась, точно посмеиваясь над собою, над той, какой она была, а теперь перестала быть, сбросив свое прежнее «я», как старую одежду. Она даже не испытывала укоров совести при мысли, что задуманное ею будет ударом для доброго полковника. Она любила его, но все это не имело значения. Со всем этим она уже покончила. Теперь уже ничто не имело значения — ничто на свете! Ей забавно было думать, что дядя с теткой совсем не так истолковали ее вчерашнюю ночную прогулку по саду и теперешнюю томную лень. И в первое же удобное мгновение она убежала из дому и под прикрытием тисов выбралась к реке. Проходя то место, где муж накануне притянул ее к себе в траву и поставил на колени, — она только подивилась своему вчерашнему страху. Что он для нее? Прошлое. Ничто! И она летела вперед. На ходу она внимательно рассмотрела берег у высокого тополя. Отсюда ничего не стоило сесть в лодку. Но они не останутся в этой тенистой заводи. Они переедут на другую сторону и войдут в тот лес, откуда вчера подымалась луна, — в тот лес, откуда ее каждое утро дразнили голоса

горлинок, в лес, до краев полный лета. А когда будут возвращаться, никто не увидит, как они причалят, потому что в заводи будет уже стоять непроглядная темь. И, торопливо идя вперед, она оглянулась через плечо и отметила про себя то место, где вода из светлой становилась темной, непрозрачной. Стрекоза на лету задела ей щеку крылышком — и пропала из виду там, где начиналась темь. Как внезапно угас ее радужный полет вне солнечного луча, точно свеча, которую задули! Древесная поросль была тут чересчур густа — корявые пни, колоды, узловатые сучья казались фантастическими чудовищами, вперявшими в нее свои глаза. Ее пробрала дрожь. Где-то она уже видела этих чудовищ с пристальным взглядом. Ах, да! В том сне, что привиделся ей в Монте-Карло, про бычью голову, уставившуюся на нее с обоих берегов, мимо которых она проплывала, не в силах издать ни звука. Нет, нет, эта протока — зловещее место, они не останутся в ней и минуты. И она еще быстрее побежала по тропинке. Скоро она уже перешла через мост, отправила телеграмму и вернулась домой. До восьми вечера оставалось прожить еще целых десять часов. Торопиться теперь было некуда. Она хотела в одиночестве насладиться этим летним днем, днем грез в ожидании его прихода, этим днем, для которого — готовила ее жизнь, днем любви! Удивительная вещь — судьба! Если бы ока, Олив, любила прежде, если бы она познала счастье в своем замужестве, она не испытывала бы сейчас того, что испытывает и что, она знала, никогда больше не испытает. Она прошла по свежескошенному лугу, взошла на пригорок и легла навзничь в еще не тронутую косами траву. Где-то на дальнем конце луга работали косцы. Все было прекрасно: в небе плыли мягкие облака, короткие стебли клевера тыкались ей в ладони, а высокие стебли пырея холодком щекотали щеки, порхали голубые мотыльки, заливался невидимый жаворонок, пахло цветением трав, и золотые заговоренные стрелы солнца падали ей на лицо и на руки. Расти и дожидаться своего лета — таков удел всего живого на земле. В этом суть Жизни! У нее уже не было ни сомнений, ни страха. Не было ни горечи, ни раскаяния в том, что она собиралась сделать. Она поступает так, ибо сделать это она должна... Ведь не могут же травы остановиться в своем цветении оттого, что их скосят! Нет, она испытывала лишь возвышенное, благое чувство. Какая бы Сила ни

создала ее сердце, Она же вложила в него любовь. И Она — что бы, кто бы это ни был — не могла теперь гневаться на нее!

Пчела опустила на ее руку, и она подняла ее к самому солнцу, любуясь смуглым сверканием мохнатого тельца. Она не ужалит — сегодня не ужалит! Голубые мотыльки тоже садились на нее, ибо она лежала совсем неподвижно. И ни на мгновение не смолкала любовная песнь лесных горлинок и не стихал дальний звон кос.

Потом она поднялась, чтобы идти домой. Пришла телеграмма, а в ней одно «да». Она прочла ее с каменным лицом, снова спрятавшись под маской томной лени. Перед чаем она призналась, что у нее побаливает голова, и ушла к себе полежать. У себя наверху она эти три часа писала, как могла, передавая бумаге все, что она продумала и прочувствовала прежде, чем прийти к теперешнему решению. Ей казалось, что это ее долг перед самой собой — поведать любимому, как она пришла к тому, к чему вовсе и не помышляла прийти. Написанное она вложила в конверт и запечатала. Она отдаст это ему — прочесть и понять, — когда докажет ему всем своим существом, как она любит. Чтение поможет ему дождаться утра, когда начнется их новая жизнь вдвоем. Ибо сегодня они обо всем договорятся, а завтра поутру отправятся в путь.

В половине восьмого она послала сказать, что головная боль ее совсем разыгралась и она не в силах никуда идти. К ней сразу же пришла миссис Эркотт: они с полковником так обеспокоены, но Олив, наверно, права, что решила побережиться! А из-за двери раздался траурный голос полковника. «Расхворалась и не может идти? Без нее будет очень скучно! Но она ни в коем случае не должна переутомляться. Нет, нет, ни в коем случае!»

Сердце у нее сжалось при этом. Он всегда был к ней так добр!

Из окна коридора она видела, как они ушли по дорожке к воротам: полковник чуть впереди, неся в руке туфли жены. Какой у него приятный, милый вид — лицо загорелое, седые усы, а держится так прямо и весь поглощен насущным делом минуты.

Лень и томность ее исчезли без следа. Одетая в белое платье, она взяла с собой синий шелковый плащ с капюшоном, в последнюю минуту вынула из вазочки и приколотла к груди темный цветок, чудом вчера уцелевший. Удостоверившись, что никого из слуг поблизости нет, она украдкой спустилась вниз и выскользнула из дому. Было ровно

восемь, и лучи солнца еще золотили голубятню. Она прошла стороной, боясь, как бы птицы не слетелись к ней, не выдали ее своим воркованьем. Уже почти выбравшись на тропинку, она вдруг замерла в страхе. Что-то прошумело в зарослях, что-то большое рванулось прочь, ломая ветки. Воспоминания ли о минувшей ночи вернулись вдруг к ней, или же в самом деле там кто-то был? Она сделала несколько шагов назад. Пустые страхи! Просто корова за живой изгородью на лугу потерлась боком о сплетение веток. И, торопливо пройдя по траве, она вышла на тропинку и бросилась к тополию.

Раз сто за эти дни разлуки Леннан готов был поехать вслед за ней, вопреки всем ее запретам, чтобы только пройти мимо ее дома, только почувствовать себя рядом с нею, быть может, мельком увидеть ее издалека. Если тело его блуждало по улицам Лондона, дух его пребывал на реке, по которой он уже плыл однажды, производя разведку. Раз сто — днем в мечтах, ночью в сновидениях — проплывал он тайком, цепляясь за плакучие ветви, через тенистую протоку, пока не завидит впереди темные тисы и белую голубятню.

Все мысли его сейчас были лишь о свершении их любви. Олив понапрасну губит себя. Как может он оставить ее там, где она теперь находится? Оставить ее жить там и дальше — в надругательство над самой собой и всей женственностью мира — в объятиях мужчины, которого она ненавидит!

Когда же в ясный июньский полдень он получил ее телеграмму, ему словно подарили ключи от рая.

Неужели, может ли быть, чтобы она решилась в этот же вечер уехать с ним? Во всяком случае, он ко всему подготовился. В мыслях своих он так часто переживал это решающее мгновение своей жизни, что теперь ему оставалось лишь воплотить в действие то, что было им тщательно продумано. Он сложил необходимые вещи, запасся деньгами и написал длинное письмо своему опекуну. Для старика — Горди было уже за семьдесят — это будет большой удар, но тут уж ничего не поделаешь. Он отправит письмо, только когда будет знать наверняка.

Рассказав в письме, как это все получилось, он писал дальше: «Знаю, что на взгляд большинства людей и, наверно, на ваш, Горди, я поступаю очень дурно, но сам я думаю иначе, и в этом вся разница. Каждый, должно быть, придерживается своего мнения по этому вопросу и, как я — клянусь вам, Горди, — никогда не стал бы и не стану насильно удерживать в браке или вне брака женщину, которая меня не любит, так, я думаю, не грешу я против принципа „Поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобою“, спасая от этой страшной неволи ту, ради которой я всякую минуту готов

умереть. Это не значит, что жалость имеет хоть какое-то отношение к тому, что со мной происходит, — я сам так думал поначалу, но теперь знаю, что ее вытеснило другое чувство, самое сильное, какое я когда-либо испытывал или еще испытаю. Совести я не боюсь ничуть. Если Бог — это Мировая правда, он не может осудить нас за то, что мы верны самим себе. Что же до людей, то мы будем держать головы высоко, а люди, по-моему, обычно ценят вас, во сколько вы сами себя оцениваете. Впрочем же, общество для нас особого значения не имеет. Мы не нуждаемся в тех, кому нет нужды в нас, поверьте! Надеюсь, что он быстро даст ей развод — это никому не причинит страданий, кроме, быть может, вас и Сесили, но если он на это не пойдет — что ж, ничего не поделаешь. У нее, по-моему, ничего нет, но с моими шестьюстами фунтами и тем, что я смогу заработать, даже если придется жить за границей, в деньгах недостатка не будет. Вы всегда были ко мне ужасно добры, Горди, и мне очень больно огорчать вас и еще того больнее, если вы сочтете меня неблагодарным; но когда человек чувствует так, как я, — всем телом, и разумом, и душою, — то иного решения просто не существует и не существовало бы, встань даже сама смерть на пути. Если вы получите это письмо, значит, мы уже уехали вместе. Я напишу вам оттуда, где придется нам раскинуть свой шатер; и, разумеется, напишу Сесили. А вас прошу, расскажите все миссис Дун и Сильвии и передайте им от меня привет, если они не откажутся его принять. До свидания, милый Горди. Я уверен, что вы поступили бы так же, если бы были мною. Всегда любящий вас Марк».

Он ничего не упустил, посвятив тщательной подготовке каждую блаженную минуту из этих оставшихся нескольких часов. И уже совсем напоследок, перед самым отъездом, он снял влажные покровы со своего быка-человека. За последние дни в лице чудовища появилось какое-то голодное, тоскующее выражение. Художник в Леннани оказался беспристрастнее человека, против воли выразив правду. И не зная, придется ли еще ему работать над этой скульптурой, он все же снова намочил полотно и бережно ее укутал.

Он проехал не в их деревню, а в ту, что находилась миль на пять вниз по течению, — так было безопаснее, и пройти на веслах все это расстояние полезно, поможет успокоиться. Наняв лодку, он поплыл вверх по течению. Он греб не спеша, чтобы убить время, держась

противоположного берега. Весла размеренно ударяли по воде, а сердце его сгорало от волнения. Верно ли, что он сейчас увидится с нею, или все это — злокозненная насмешка судьбы, сон, от которого он сейчас очнется и окажется в прежнем одиночестве? Наконец осталась позади голубятня, а еще немного спустя он завернул в темную протоку и мог пристать под старым тополем. Было без нескольких минут восемь. Он развернул лодку и стал у самого берега, держась за повисшую ветку, в таком месте, откуда видна была тропинка. Если бы мог человек умереть от страсти и нетерпения, то, уж конечно, Леннан не пережил бы этих минут ожидания.

Ветер совершенно стих, и день сменился удивительным недвижимым вечером. Солнце было уже низко, и в редких косых полосах золотого света толклись над темной водой комары. С лугов, покинутых косарями, сладко тянуло сеном и таволгой, и, сливаясь с пряным дыханием стоячей воды, эти запахи висели здесь тяжелым, сонным ароматом. Никто не проходил по тропинке. И звуки доносились до его нетерпеливого слуха, редкие и далекие, ибо там, где он сейчас находился, не пели птицы. Воздух был так недвижим и тепел, а между тем словно вибрировал у щек, готовый вот-вот вспыхнуть огнем. И ему представилось, будто он видит, как зной дрожит и трепещет маленькими бледными язычками пламени. На жирных стеблях тростника еще кормились кое-где крупные, медлительные жуки; болотная курочка неподалеку вдруг всплескивала в воде и издавала резкий крик. Когда придет она — если она в самом деле придет! — они не останутся здесь, в этой мутной, темной заводи, он отвезет ее на другой берег, в лес! Но минуты проходили, и сердце его все сжималось. И вдруг оно громко застучало! Кто-то приближался по тропинке — кто-то в белом, с непокрытой головой, перекинув что-то синее или черное через руку! Это она! Никто, кроме нее, не ходит так. Она шла очень быстро. И он заметил, что волосы ее были, точно два маленьких крыла, по обе стороны лба, словно лицо ее — это белая птица, летящая на черных крыльях навстречу любви! Вот она уже близко, так близко, что ему видны ее приоткрытые губы и освещенные огнем любви глаза, ни на что на свете не похожие, кроме росистой, звездной летней тьмы. Он протянул к ней руки и перенес ее в лодку, и запах какого-то цветка у самого его лица словно пронзил его до самого сердца, пробудив память о чем-то забытом, прошедшем. Потом,

перебирая плакучие ветви, обламывая их в спешке, он повел лодку по стоячей воде, не отмахиваясь от комаров, плясавших у него перед глазами. Она словно знала, куда он ее везет, и ни один из них не произносил ни слова, покуда Леннан греб через плес к тому берегу.

Теперь от леса их отделяло лишь одно поле молодой пшеницы, обнесенное живой изгородью из терновника. И вдоль этой изгороди пошли они, крепко взявшись за руки. Они еще ничего не сказали друг другу — они, словно дети, копили все на потом. Она накинула плащ, чтобы прикрыть платье, и синий шелк шуршал, задевая серебристые перья пшеницы. Что подсказало ей надеть этот синий плащ? Синева неба, и цветов, и птичьих крыл, и темная, пламенеющая синева ночи! Цвет всего самого святого на свете! А как тихо все кругом в последних отсветах заходящего солнца! Ни зверь, ни птица, ни дерево — ни звука! Даже жужжания пчелы не слышно. И краски померкли — лишь белеют созвездия болиголова, да рдеют темно-красные горичветы, да волшебным сияет над колосьями последний низкий солнечный луч.

...И вот над лесом и рекою стал сгущаться сумрак. Первыми пропали ласточки, а ведь еще недавно казалось, что никогда не перестанут они носиться в вышине; и свет, словно бы навеки раскинувшийся над миром, вспыхнув напоследок, медленно пал на землю, бескрылый и померкший.

А луна взойдет только к десяти часам! Все замерло в ожидании. После долгого летнего дня медлили твари ночные, пока тени деревьев все глубже погружались в белые воды, а белый лик небес затягивала бархатная маска. Даже сами деревья, поникнув черными султанами, ждали, застыв, появления спелого цветка ночи. Все предметы, потускневшие в этот час, когда уходит день, глядели широко открытыми, печальными, не знающими благодати очами. Очарование умерло, казалось, всякий смысл покинул землю. Но ненадолго. На крыльях тьмы возвратился он, неслышный, обратно — не бледная тень ушедшего дневного смысла, но колдовской, задумчивый дух, поселившийся в тени черных деревьев, меж острых темных копий тростника и на мрачных мордах, что угадывались в очертаниях коряг над водою. Потом вылетели на охоту совы и прочие пернатые хищники. И в темноте леса началась жестокая птичья трагедия — черная погоня в сумраке над папоротниками, крики жертвы, пронзенной неумолимыми когтями, и, мешаясь с ними, хриплые, яростные вопли торжества. Долгие минуты раздавались они, эти голоса ночи, звуки-символы всего, что есть жестокого в сердце Природы, покуда смерть наконец не положила предел мукам. И снова всякая душа, сострадающая гонимым, могла прислушиваться, не проливая слез...

А вот и соловей излил свои протяжные, гортанные трели, и коростель засвистал в молодых хлебах. И снова затаилась ночь в безмолвных лесных верхушках и в еще более безмолвной глубине вод. Лишь по временам издавала она легкий вздох или бормотание, быстрый тихий всплеск, охотничий клич совы. А дыхание ее было по-прежнему знойным и полным душного аромата, ибо роса не выпала...

Был уже одиннадцатый час, когда они вышли из леса. Она хотела дожидаться, пока взойдет луна — не золотая монета прошлой ночи, но бледный диск старой слоновой кости, — заливающая неверным светом папоротник и одевшая нижние ветви инеем белых цветов.

Через калитку вышли они снова в поле молодой пшеницы и пошли мимо залитых луною хлебов, которые словно бы принадлежали к совсем другому миру, чем те, что стояли здесь каких-то полтора часа тому назад.

В сердце Леннана царило чувство, которое лишь раз в жизни дано испытать мужчине, — смиренная благодарность, и хвала, и поклонение той, что отдала ему всю себя. Отныне уделом ее будет лишь радость — как радость вот этого часа. Никогда не будет она знать меньшего счастья! И у самой воды, опустившись перед нею на колени, он целовал край ее платья, и руки ее, и ноги, которые с завтрашнего дня навсегда будут принадлежать ему.

Потом они вошли в лодку.

Улыбка лунного света скользила по каждой рябинке вод, по каждому стеблю камыша; по каждой сложившей лепестки лилии; по ее лицу, по разметавшимся волосам, с которых упал капюшон; скользила по руке ее, опущенной в воду, и по другой руке, которую она прижимала к цветку на своей груди. И чуть слышно она прошептала:

— Гребни, любовь моя, уж поздно!

Погрузив весла в воду, он в несколько взмахов пригнал лодку в черную заводь заросшей протоки...

Что случилось потом, он так никогда и не узнал, не представил себе с полной ясностью за все последующие годы. Ее белая фигура, вдруг поднявшаяся во весь рост, — она подалась вперед, будто пойманный зверь, в страхе не знающий, куда прыгать; страшный толчок, его голова ударилась обо что-то твердое! Потом небытие. А потом отчаянная, жуткая схватка с какими-то корнями, травами, слизью, слепое нащупывание чего-то в черной тьме, среди коряг, в мертвой заводии, казалось, лишенной дна, — он и тот, другой, который налетел на них в темноте ночи, точно хищный, жаждущий убийства

зверь; кошмар поисков, весь ужас которых никакие слова не в силах передать, пока наконец на освещенном лунной берегу они не положили ее, недвижимую, несмотря на все их усилия... Так она лежала, вся в белом, а они двое скорчились над нею — один в ногах у нее, другой у головы, точно черные хищные твари лесов и вод над телом той, кого они загнали и убили.

Сколько времени пробыли они так, ни разу не взглянув друг на друга, не обменявшись ни единым словом и не отнимая рук от мертвой, он не знал. Сколько длилось это в ту летнюю ночь, при трепетном свете луны, отбрасывавшем вокруг дрожащие тени, под шуршание камышей на ночном ветру!..

Но вот жизнь взяла верх, и чувства вернулись к нему... Никогда больше не видеть этих глаз, что любили его своим сиянием! Никогда больше не целовать ее губ! Холодная, как лунный свет на земле, все с тем же темным цветком на груди. Выброшенная на берег, точно сорванная лилия! Мертва? Нет, нет! Она жива! Жива в ночи — жива для него — где-то! Не здесь, на туманном берегу этой ужасной заводи, рядом с немым темным существом, которое ее убило! Там, на реке, в лесу, где они были счастливы, где-то она жива!.. И, спотыкаясь, он прошел мимо неподвижного Крэмьера, сел в свою лодку и стал грести, точно безумный.

Но, очутившись на середине реки, он застыл, весь подавшись вперед, сгорбившись над поднятыми веслами.

Лунный свет заливал его лодку, скользящую вниз по течению. Лунный свет разравнивал лоно вод, похитивших ее жизнь. И теперь душа ее смешалась с белой красотой и с тенями, войдя навеки в тишину и страсть летней ночи; здесь она останется, скользя с места на место и прислушиваясь к шороху камышей и к шелесту леса, ибо благословенная вечной мечтой, она встретила смерть так, как хотел бы всякий, — в час счастья.

ЧАСТЬ III
ОСЕНЬ

Когда в эту ноябрьскую ночь Леннан бесшумно подошел к открытым дверям спальни и стоял, глядя на спящую жену. Судьба еще ждала ответа.

В камине горел слабый огонь — такой огонь отбрасывает кругом легкие тени и только по временам, разгораясь на мгновение, освещает один какой-нибудь предмет, вдруг четко выступающий из полумрака. Шторы на окнах были задернуты неплотно, и еще не растерявшая всех листьев ветка платана, их неизменного соседа на протяжении прожитых здесь пятнадцати лет, темно качалась на ветру, легонько постукивая в стекло, словно просила, чтобы он впустил ее в дом, — ведь он и сам столько часов провел на этом ветру. Верные товарищи — лондонские платаны!

Он и надеяться не смел, что застанет Сильвию спящей. Для нее это благо, какой бы в конце концов ни был сделан выбор — выбор, равно жестокий! Лицо нее было повернуто к огню, щека покоилась на ладони. Она всегда так спала. Даже когда жизнь вдруг превращается в бескрайнюю пустыню, где не видно ни единого путеводного знака, — все равно человек держится за свои привычки. Бедняжка, нежное сердце! Она не сомкнула глаз с тех пор, как он сказал ей все — сорок восемь часов назад, которые кажутся годами! Со своими льняными волосами и трогательным, чистосердечным выражением, не пропадающим даже во сне, она казалась уснувшей девочкой, мало в чем изменившейся с того лета, когда в Хейле праздновали свадьбу Сесили. Лицо ее не постарело за эти двадцать восемь лет. Да и не было до последнего времени причины ему стареть. Заботы, думы, сильные чувства, страдания — вот что изменяет лицо; Сильвия же никогда чересчур глубоко ни о чем не задумывалась и никогда особенно не страдала — до последнего времени. Неужели же теперь ему, который относился к ней так бережно, — очень в общем бережно, несмотря на мужской эгоизм, несмотря на то, что она никогда не понимала глубин его натуры, — неужели же ему, из всех людей, предстояло теперь причинить ей горе, наложить печать страдания на ее лицо, быть может, совсем ее погубить?

Он на цыпочках прошел в спальню и опустился в кресло у камина. Сколько воспоминаний вобрал в себя огонь — и эти серые хлопья пепла, и маленькие листки пламени, и ровный жар, и перебегающие вспышки! Целая повесть о страстях. Как похож огонь на человеческое сердце! Первые взлетающие огненные языки юности; внезапное яростное, всевластное, гудящее пламя; долгое, ровное, трезвое горение; и под конец — новая вспышка, отчаянный рывок за собственной уходящей молодостью, последний, жадный всплеск пламени, прежде чем пепел погребет его в небытии! В огне представляли ему образы и картины прошлого, какие видятся человеку, лишь когда сердце его, истерзанное долгой борьбой, содрогается от малейшего прикосновения, словно с него содрана оболочка. Любовь! Странная, непонятная сила, что вечно колеблется между блаженством и мукой! Коварная, неразумная, безоглядная. Летучая радость, сладчайшая на земле, но с темными корнями и темной судьбой. Безрассудная, непоследовательная. Любовь, которую пришлось пережить, — ты ли повелевал каждый раз ее приливом и отливом? Не больше, чем осенним перелетом птиц, вдруг спускающихся из поднебесья отдохнуть часок и снова сняться в путь. Любовь и нежность, оставшиеся позади, — даже если жизнь твоя, на мужской счет, отнюдь не изобиловала любовными историями. Одна любовь, которая считала, что тирольские небеса упадут на землю, если ему не будет принадлежать первое место в сердце некоей дамы. Другая любовь, чья звезда запуталась в волосах Сильвии, спящей сейчас перед ним. Потом так называемая любовь — та заманчивая, но не слишком чисто плотная трапеза удовольствия, от которой юности, даже самой чувствительной, кажется, положено вкусить рано или поздно при неясном свете молодой страсти; взгляд в глубины жизни, который представлялся таким важным, а оказался совсем незначительным, принес лишь разочарование в себе и жалость к подруге. А потом любовь, о которой он даже теперь, через двадцать лет, не мог вспоминать без муки; та всепоглощающая страсть лета, в один вечер достигшая всего и все жестоко утратившая, оставив на сердце у него рану, так и не зажившую, и в душе его посеяв семена одиночества, — неизбежное сожаление о том, что так и не сбылось. О его участии в трагедии той ночи, в «несчастном случае на реке», никто даже не подозревал. Потом долгое отчаяние, казавшееся концом всякой любви,

медленно прошло, и родилась еще одна любовь — вернее, возродилась, бледная, трезвая, но вполне настоящая; вспыхнуло снова старое, забытое со времен юности чувство преданности и покровительства. Он и сейчас помнил лицо Сильвии, когда они встретились случайно на Оксфорд-стрит, — он тогда только что вернулся после четырех лет изгнания, проведенных на Востоке и в Риме, — то взволнованное, укоряющее выражение, которое тут же сменилось изверившимся, ироническим, словно бы говорящим: «Нет, нет, после стольких лет забвения — где уж вам теперь вспомнить меня!» И еще более трогательное выражение радости, когда он с ней заговорил. Потом несколько месяцев неопределенности, но с заранее известным исходом; и свадьба. Брак вполне счастливый — нежный, не слишком пылкий, особенной духовной близостью не отмеченный, — его работа, по правде сказать, оставалась от нее так же далека, как и в тот день, когда она украсила жасминовыми звездочками его зверюшек. Спокойный, удачный союз, не Бог весть как много значивший, думал он, ни для него, ни для нее, — до тех пор, пока сорок восемь часов назад он не сказал ей; и тут она вся сжалась, поникла, не выдержала. А что же он сказал ей?

О, это длинная история.

Сидя сейчас у огня, пока ничего еще не было решено, он словно бы обозревал ее с самого начала, со всеми ее дьявольскими тонкими хитросплетениями, медленными, подспудными чарами, источаемыми скорее из него самого, из тела его и духа, нежели из внешнего очарования, — будто какая-то роковая сила, долго дремавшая в нем, пробуждалась опять, чтобы опять расцвести темным цветком...

II

Да, это началось больше года назад, началось со странного, горького беспокойства, с сознания, что жизнь проходит, течет у него между пальцев, а он даже не пытается ее схватить, удержать. Пришло какое-то неотвязное томление, утихавшее лишь на время напряженной работы, — томление Бог весть по чему, боль, особенно непереносимая, когда теплел ветер.

Говорят, сорок пять лет — опасный возраст для мужчины, тем более для художника. Всю прошлую осень он тяжело переживал эту свою смутную муку. Она оставила его в конце декабря и на весь январь, пока он бился над группой львов, но как только работа была закончена, все возобновилось с новой силой. Он хорошо помнил, как в конце января день за днем бродил по скверам и паркам, ища спасения. Стояла оттепель, ветер приносил какие-то запахи! С завистью смотрел он на детей, резвившихся в парке, на преждевременно набухшие почки, на все, что ни было молодого вокруг, — и с болью видел он, что повсюду кипит жизнь и любовь, а он остается в стороне, не в силах их познать, схватить, взять себе, между тем как песок в его часах высыпается тонкой, непрерывной стружкой! Нелепое, бессмысленное ощущение для человека, имеющего все, что ему нужно, имеющего любимую работу, довольно денег и такую хорошую жену, как Сильвия, — ощущение, которое просто не вправе ни на миг докучать ни одному англичанину в возрасте сорока шести лет и в полном здравии. Ощущение, в каком ни один англичанин, собственно, и не признавался никогда, так что не создано еще и Общество по борьбе с ним. Ибо что же иное представляет собой это беспокойное чувство, если не сознание, что твое время уже прошло, что никогда больше не знать тебе трепета и блаженства влюбленности, что удел твой теперь — лишь тоска о том, что прошло и чего не вернуть! Что может быть предосудительнее для женатого человека?

Это было... ну да, был последний день января, когда, возвращаясь после очередного своего кружения по Хайд-парку, он встретил Дромора. Странно вдруг узнать человека, с которым не виделся со школьных времен. Но ошибиться было нельзя: это Джонни Дромор,

собственной персоной, шел по Пикадилли вдоль ограды Грин-парка, шел своей всегдашней походочкой, чуть вразвалку, как полагается завсегдатаю клубов и наезднику; щегольская шляпа слегка набекрень, и насмешливые глаза таращатся в азарте, будто жизнь для него — вечное пари. Да, все тот же подтрунивающий Джонни Дромор, то угрюмый, то беззаботный, но всегда себе на уме, Джонни, у которого добрая душа таилась под наружностью, словно бы стыдящейся этого. Право же, комната, в которой школьниками вместе жили, один колледж в Оксфорде, где оба учились, — это соединяет людей таинственными, нерушимыми узами.

— Марк Леннан! Вот тебе и на! Не видел тебя тысячу лет! С того времени, как ты расцвел на ниве... этого самого... как вы говорите? Искусства. Ужасно рад тебя встретить, старик!

Вот она, встреча с прошлым, давно исчезнувшим из жизни, из чувств и мыслей. Голова Леннана гудела от лихорадочных поисков общей темы для разговора с этим светским любителем охоты и скачек.

Джонни Дромор снова возник из небытия — тот самый Джонни, на кого Общественная Машина к двадцати двум годам наложила штамп добродушной пронизательности и с тех пор не затрагивала ни мыслей его, ни чувств; Джонни Дромор, так и не пошедший дальше той философии, согласно которой все, что не имеет отношения к лошадям, женщинам, вину, сигарам, шуткам, веселому нраву и этому вечному пари, — глупость и чудачество; Джонни Дромор, у которого была где-то своя тайная глубина, свой голод душевный, совсем ему, Джонни Дромору, казалось бы, несвойственный.

Как странно звучала его отрывистая речь!

— Встречаешься со стариком Фуксом? На скачках играешь? Живешь-то ты в Лондоне? Помнишь доброго старого Бленкера? — потом пауза и новый фонтан: — Когда-нибудь заглядывал в «Бэмбери»? А на скачки?.. Пошли зайдем ко мне в берлогу. У тебя ведь никаких дел-то нету. — Джонни Дромора не убедишь, что это самое... как вы говорите?.. искусство — настоящее дело. — Пошли, старина. На меня, брат, что-то меланхолия напала. Все проклятый восточный ветер.

Он отлично помнил со времен, когда они делили комнату в «Бэмбери», эти приступы меланхолии, которые бывали у Джонни

Дромора после какой-нибудь развеселой попойки или озорной проделки.

Свернув с Пикадилли, они пошли по узкому переулку и поднялись в «берлогу» на втором этаже с маленькой темной прихожей, где висели гравюры Ван-Беерса, карикатуры из «Ярмарки Тщеславия»^[16] и фотографии скаковых лошадей; в гостиной наставлены были большие кресла и повсюду бросались в глаза неизменные атрибуты лондонского бездельника: «Справочники коннозаводчика», бинокли, олени рога, охотничьи хлысты. Но сверх того сразу обратило на себя внимание и нечто иное, чуждое этой картине, — книги, ваза с цветами, серый котенок.

— Присаживайся, старина. Что будешь пить?

Погруженный в глубины изумительного кресла с тяжелыми подлокотниками, обтянутыми коричневой кожей, он говорил и слушал как бы в полусне. «Бэмбери», Оксфорд, клубы, в которых состоял Горди, — милый старый Горди, его уже нет в живых! — дела давно минувшие, забытые, они, казалось, снова обступили его со всех сторон. Но постоянно вплетаясь в их несвязный разговор, в это воскрешение из мертвых, в дымки их сигар, примешивалось ощущение чего-то несообразного, постороннего. Быть может, оно исходило от написанного сепией женского портрета, глядевшего на них с дальней стены, где стоял дубовый буфет с графинами под стеклом? Портрет до удивления ни с чем в комнате не вязался, кроме разве цветов в вазе или этого мохнатого котенка, тыкающегося мордочкой ему в ладонь. Как иногда один предмет приобретает власть над целым помещением, как бы чужд ни был он по духу всему остальному, что там находится! Казалось, от портрета словно тень ложилась на раскинувшуюся в кресле фигуру Дромора, на его обветренную носатую физиономию за гигантской сигарой; на его странные, грустные, насмешливые глаза, в глубине которых затаилось раздумье.

— У тебя бывают такие приступы меланхолии? Свински паршивое чувство. Это все старость. Мы с тобой свински стары, Ленни!

Вот уже двадцать лет никто не зовет его Ленни. И это правда: они невыразимо стары.

— Знаешь, когда человек начинает чувствовать, что старится, ему самое время закутить или еще что-нибудь эдакое выкинуть. А сидеть сложа руки и поглядывать — сил нет! Поехали со мной в «Монте»!

«Монте!» Старая, никогда не заживающая рана засаднила при звуке этого слова, и он с трудом произнес:

— Да нет, я не люблю «Монте».

И тут же увидел, что Дромор устремил на него внимательный, вопрошающий взгляд.

— Ты женат?

— Да.

— Вот не думал, что ты женишься!

Значит, Дромор о нем думал! Странно. Он-то никогда не вспоминал о Джонни Дроморе.

— Зима — свински неприятная штука, если не охотишься. А ты сильно изменился; я тебя едва узнал. В прошлый раз видел тебя, когда ты как раз возвратился откуда-то, из Рима, что ли. Ну, а каково быть... этим... скульптором? Видел я кое-что твое. А лошадей тебе лепить случалось?

Да, он как раз в прошлом году делал барельеф с лошадьми.

— И женщин тоже лепишь, а?

— Редко.

Глаза Джонни слегка выпучились. Странная вещь, этот пошленький интерес. Мальчишки они, такие Джонни Дроморы, и все тут; никогда не взрослеют, как бы ни обошлась с ними жизнь. Заговори Дромор совершенно чистосердечно, как некогда в «Бэмбери», он бы сказал: «Везет же тебе! Развлекаешься в свое удовольствие!» Вот так они и воспринимают искусство — негодование благочестивых филистеров, святош, сокрушенно вздергивающих брови и вздыхающих о «погибели души», но только навыворот. Малые дети! Им не доступен подлинный смысл Искусства — неведомо, какой это труд и томление!

— Ну, и это дает тебе деньги?

— Да.

Снова с уважением таращатся глаза Джонни, словно он хочет сказать: «Эге! Это интереснее, чем я думал...»

Последовало долгое молчание — лиловые сумерки лились в окна, в камине потрескивал огонь, серый котенок терся с мурлыканьем об

его шею, дым от сигар подымался к потолку; и такое странное, дремотное чувство покоя охватило его, какого давно уже не ведала его душа. И вдруг — что-то... кто-то... там в дверях, у буфета! И голос Дромора, как-то странно произнесший:

— Входи, Нелл! Познакомься с моей дочерью...

В руку Леннана легла рука, в ней чувствовалась и как бы непринужденность светской дамы и порывистая теплота ребенка. И голос, юный, быстрый, ясный, проговорил:

— Здравствуйте. Он хорошенький, мой котенок, да?

Дромор зажег свет. Серая амазонка, высокая фигура поразительно правильных пропорций; лицо не то чтобы по-детски округлое, но и не оформленное еще по-женски, чуть зарумянившееся, спокойное; вьющиеся русые волосы, стянутые сзади черной лентой под маленькой шляпкой, и глаза — точно глаза Гейнсбороховской «Пердиты», медлительные, серые, колдовские, с длинными загнутыми ресницами, глаза, которые могут притягивать к себе вещи, — еще невинные глаза.

Уже открыв рот, чтобы сказать: «Я думал, что вы сошли с этой картины», — он увидел лицо Дромора и бестолково переспросил:

— Так это ваш котенок?

— Мой; но он ко всем ластится. Вам нравятся ангорские кошки? Вот потрогайте: один мех!

Углубив пальцы в изгибы кошачьего тельца, он заметил:

— Без шкурки кошки выглядят странно.

— А вы видели кошек без шкурки?

— О, да! В моей профессии приходится проникать вглубь, под кожу, — я скульптор.

— Это, должно быть, ужасно интересно!

Что за светская женщина! И что за ребенок в то же время! Теперь он разглядел, что лицо на портрете выглядит старше: губы не такие полные, взгляд не так невинен, не так округлы щеки, и что-то печальное, горькое в выражении, — лицо, отмеченное безжалостной печатью жизни. Но глаза такие же, и сколько в них очарования, несмотря на горечь, на печать прожитого! Он заметил, что к раме приделан металлический прут, а на нем — серая занавеска, сейчас отдернутая. Юный самоуверенный голос говорил:

— Может быть, вы согласились бы посмотреть мои рисунки? Это было бы ужасно мило с вашей стороны. Вы могли бы мне

посоветовать...

И он с унынием увидел, как она открывает альбом. Разглядывая школьные рисунки, он чувствовал, что она смотрит на него, как зверюшки, когда они присматриваются, решая, друг вы или нет. Потом она подошла и стала совсем рядом, касаясь его плечом. Он удвоил усилия в поисках хоть чего-нибудь отрадного в ее рисунках. Но ничего не нашел. И если в других вопросах он мог покривить душой, чтобы не огорчить человека, то там, где дело касалось искусства, он был на это неспособен; поэтому он просто сказал:

— Видите ли, вас ведь не учили.

— А вы не могли бы научить меня?

Но прежде чем он мог ответить, она уже спешила исправить повзрослому свою детскую бестактность:

— Разумеется, мне не следовало так говорить. Вам было бы ужасно скучно.

Он смутно помнил, как после этого Дромор спрашивал его, катается ли он верхом в Хайд-парке; как ее удивительные глаза, не отрываясь, следили за ним; помнил прощальное детское пожатие ее руки. И вот, минуя бесконечный ряд карикатур из «Ярмарки Тщеславия», он уже спускался по полутемной лестнице навстречу восточному ветру.

III

Шагая по Грин-парку домой, испытывал ли он волнение? Трудно сказать. Он чувствовал себя слегка польщенным, и на сердце у него немного потеплело; но было и раздражение, которое всегда вызывали у него люди, воспринимавшие мир Искусства так несерьезно, будто это забава. Учить этого ребенка рисовать — эту пустышку с ее котенком и с прогулками верхом; и с ее глазами «Пердиты»! Забавно, как она сразу прониклась к нему дружелюбием! Наверно, он отличается от тех людей, с какими ей обычно приходится иметь дело. И как мило вела она беседу! Странное, привлекательное, даже, пожалуй, красивое дитя! Лет семнадцати, никак не старше... и... дочь Джонни Дромора!

Ветер был пронзителен, в голых ветвях деревьев желтели пятна фонарей. Он всегда красив, вечерний Лондон, даже в январе, даже при резком восточном ветре, красив никогда не приедающейся красотой. Высятся чеканные громады его темных зданий, мерцают огни, точно рои летучих звезд, спустившихся на землю; и все согрето биением и трепетом бесчисленных жизней, всех тех жизней, в суть и сутолоку которых он так стремился проникнуть.

Он рассказал Сильвии о своей встрече с Дромором. Это имя ее поразило. У нее была старая ирландская баллада под названием «Замок Дроморов» с причудливым, неотвязным припевом.

Всю следующую неделю стояли морозы, и он начал новую скульптурную группу — две их овчарки в натуральную величину. Потом наступила оттепель — с первым юго-западным ветром, каждый февраль приносящим неповторимое ощущение Весны, от которого наши чувства, подобно сонным пчелам, оживают под лучами солнца и уносятся вдаль. И с еще большей силой пробудилась в нем жажда жить, познавать, любить, тоска по чему-то новому. Конечно, к Дромору его привело не это; нет, разумеется, простое дружелюбие, ведь он даже не назвал старому однокашнику своего адреса и не сказал, что жена будет рада с ним познакомиться, если он соберется к ним заглянуть, ибо Джонни Дромор производил впечатление не слишком-то счастливого человека, какой бы закаленный и

равнодушный вид он на себя ни напускал. Да, да! Надо было к нему зайти, этого требовала старая дружба.

Дромор сидел в низком кресле с сигарой в углу рта, с карандашом в руках и «Руководством» Раффа на колене; рядом лежала толстая книга в зеленом переплете. Вид у него был довольный, не осталось и следа от прежних приступов уныния. Он проговорил, не вставая:

— А, старик! Рад тебя видеть. Присаживайся! Вот гляди-ка: с кем бы мне случить Агапемону — с Сан-Дьяволо или с Понте-Канетом? — прямая линия от Сент-Поля, не дальше четвертого колена. На этот раз я намерен получить от нее действительно первоклассного жеребенка.

И тот, кто в жизни своей не слыхивал этих священных имен, ответил:

— Ну, разумеется, с Понте-Канетом. Но если ты занят, я найду в другой раз.

— Что ты! Ни в коем случае! Закури-ка. Я вот только прогляжу их родословные, и мы с тобой пропустим по стаканчику.

И Леннан уселся в кресло наблюдать эти изыскания, окутанные табачным дымом и перемежаемые невнятными возгласами. Они были столь же важны и увлекательны, как и труды его самого, творящего из глины, ибо перед внутренним взором Дромора вставал образ идеальной скаковой лошади; он тоже творил. Здесь не составлялся ловкий план наживы — здесь совершался некий сложный процесс, облагороженный тем особым чувством, с каким человек потирает руки по окончании акта творчества. Только однажды Дромор бросил ему через плечо:

— Зверски трудное дело — правильно выбрать главную линию!

Да, истинное Искусство! Как хорошо знакомы художнику эти поиски точки равновесия, центральной оси, без которой останется мертвым любой замысел!.. Он заметил, что сегодня в комнате нет ни цветов, ни котенка — и не чувствуется присутствие постороннего начала; даже портрет задернут. Уж не примерещилась ли ему эта девушка, не пригрезилась ли его воображению, охваченному тоской по юности?

Но вот Дромор захлопнул зеленую книгу, встал и подошел к огню.

— Ты тогда очень понравился Нелл. Да ты всегда имел успех у женщин. Помнишь девушку у Коустера?

У Коустера была кондитерская, и Леннан ходил туда всякий раз, как бывали деньги, просто чтобы смиренно полюбоваться красивым лицом. Просто любоваться чем-то красивым, не более того! Джонни Дромору и сейчас этого не понять, как и тогда, когда они делили комнату в «Бэмбери». Совершенно бесполезно пытаться ему объяснить! Он поглядел в его вытаращенные глаза и услышал добродушно-насмешливый голос:

— Эге, да ты, я вижу, седеешь. Да, Ленни, мы с тобой свински постарели! Все стареют, когда женятся.

— Кстати, я не знал, что и ты был женат.

Насмешка погасла в лице Дромора, точно задутое пламя свечи; вместо нее разлился медный румянец. Несколько секунд он молчал, потом кивнул в сторону портрета и буркнул:

— Мне жениться не пришлось. Нелл — внебрачная.

В душе Леннана взметнулось негодование: Дромор так говорит о своей дочери, словно стыдится ее! Как раз в его духе; самые узколобые существа — это лондонские прожигатели жизни! Их носит, как скорлупки, по волнам чужого мнения, ибо у них нет якоря собственных глубоких чувств! И не зная, приятно это будет Дромору или же он сочтет его сентиментальным болтуном, а то и вовсе человеком безнравственным, он все-таки сказал:

— Ну, из-за этого всякий порядочный человек будет только бережнее к ней относиться. Когда мы с ней начнем заниматься рисованием?

Дромор подошел к портрету, отдернул занавеску и сдавленным голосом проговорил:

— Бог мой, Ленни! Как несправедлива жизнь! Рождение Нелл убило ее мать. Уж лучше бы это был я, право, я не шучу. Всегда расплачиваются женщины.

Леннан встал, ибо вызванная из прошлого память о той летней ночи, когда и другой женщине тоже пришлось расплатиться за все, заливала ему сердце черным потоком неизбывного горя. Он тихо сказал:

— Прошлое есть прошлое, старина.

Дромор снова задернул занавеску и вернулся к камину. Целую минуту он молча глядел в огонь.

— Что мне делать с Нелл? Она становится взрослой.

— А что ты с ней делал до сих пор?

— Она была в школе. А на лето я посылаю ее в Ирландию — там у меня есть что-то вроде поместья. В июле ей будет восемнадцать. Надо представить ее дамам, и все такое. В том-то и загвоздка. Как? Кому?

Леннан мог только пробормотать:

— Моей жене, например.

Он вскоре ушел. Джонни Дромор? Своеобразный наставник для молодой девушки! Странная у нее, должно быть, жизнь в этой холостяцкой «берлоге» в окружении раффовских «Руководств». Что ее ждет? Роман с каким-нибудь юным хлыщом; законный брак с ним — уж об этом ее отец позаботится, он, как видно, дорожит респектабельностью! А потом, быть может, судьба ее матери, злосчастной женщины, изображенной на портрете, с этим чарующим, горьким лицом. А впрочем, не его это дело!

IV

Не его дело! Значит, лишь простое чувство товарищества снова привело его к Дромору после этого признания — надо было показать, что слово «внебрачная» имеет силу лишь в воображении его друга, и еще раз заверить его, что Сильвия рада будет принять девушку, если ей захочется побывать у них.

Когда он упомянул об этом в разговоре с женой, она молчала долгую минуту, задумчиво глядя на него, а потом сказала: «Бедное дитя! Знает ли она сама об этом? Люди ведь такие недобрые, даже в наши дни!» Он был не в силах представить себе, что кто-то способен придавать этому значение, — разве только добрее бы стал к девушке; но в таких вопросах Сильвия разбиралась лучше, она стояла ближе к общим взглядам — встречалась с людьми, с которыми он не знался, людьми более обычного и распространенного типа.

Было довольно поздно, когда он в третий раз добрался до дроморовской «берлоги».

— Мистера Дромора, сэр, — сказал лакей (у него было то всезнающее выражение лица, каким мудрое Провидение награждает слуг в окрестностях Пикадилли), — мистера Дромора сейчас нет. Но он непременно будет перед обедом — заедет переодеться. Мисс Нелл дома, сэр.

И он увидел ее, сидящую за столом, занятую наклеиванием каких-то фотографий в альбом, — одинокое юное существо в жилище пожилого холостяка! Леннан стоял незамеченный и глядел на ее затылок, на густые вьющиеся русые волосы, перехваченные лентой и ниспадающие по темно-красному платью. И к доверительному шепоту лакея: «Мистер Леннан, мисс!» — добавил от себя еще тише: «Можно мне войти?»

Она с великой непринужденностью вложила ладонь ему в руку.

— О, да, пожалуйста, если только вас не пугает весь этот беспорядок. — И прибавила, слегка сжав ему пальцы: — Вам очень скучно было бы посмотреть мои фотографии?

И они уселись вдвоем над альбомом — там были мужчины с ружьями и удочками, группы школьниц, котята, Дромор и она сама на

лошади, и на нескольких карточках — какой-то молодой человек с широким, смелым и довольно красивым лицом.

— Это Оливер, Оливер Дромор, папин двоюродный племянник. Он очень мил, правда? Вам нравится его лицо?

Леннан сам не знал. Не ее троюродный брат, а двоюродный племянник ее отца! И в душе его снова вспыхнуло слепое пламя негодования и жалости.

— А как же насчет уроков рисования? Вы до сих пор не пришли учиться.

Она стала краснее своего платья.

— Я думала, что вы просто из вежливости. Я не должна была вас просить. Конечно, мне ужасно хотелось бы, только я знаю, вам будет очень скучно...

— Вовсе нет.

Она подняла глаза. Какие они у нее томные, необыкновенные!

— Тогда можно, я приду завтра?

— В любой день между половиной первого и часом.

— А куда?

Он дал ей свою карточку.

— Марк Леннан... Да... мне нравится ваше имя. Еще в прошлый раз понравилось. Очень красиво!

Что она могла найти в имени, чтобы из-за него ей понравился человек? Что он скульптор, для нее значения иметь не могло, ибо, какова бы ни была его известность, ей его ими известно быть не могло. Ах, но ведь в имени может быть заключено так много для детского слуха! Когда он сам был ребенком, какое очарование содержалось для него в словах: «макароны», «Брабант», «Карниола», «Альдебаран» и «мистер Мак-Крей»! На протяжении недели весь мир был «мистер Мак-Крей», а это всего лишь имя вполне заурядного приятеля Горди.

Как бы то ни было, но под воздействием каких-то чар она разговорилась — о школе, о лошадях и автомобилях (ей нравилась быстрая езда), о Ньюмаркетских скачках, которые она находила изумительными, и о театре — о пьесах того толка, какой должен был внушать доверие Джонни Дромору; кроме них, «Гамлета» и «Короля Лира», она ничего не видела. Никогда еще не встречал он девушки, столь не затронутой мыслью, искусством и в то же время неглупой, обладающей каким-то природным вкусом; просто ей не было случая

его применить и развить. Да и откуда бы у — Джонни Дромора, *duce et auspice*^[17] Джонни Дромора! Правда, в школе ее возили в Национальную галерею. И Леннан представил себе десяток юных девиц, шествующих под эгидой одной старой девицы, — как они восторгаются собаками Лэндсира, сдавленно хихикают перед Ботичеллиевыми ангелами, глазают по сторонам, шаркают ногами и щебечут, словно стайка птичек в кусте.

И все же это дитя «драморизма» оказалось наивнее большинства своих сверстниц. Если ее серые колдовские глаза и следовали за ним, не отрываясь, то открыто, без задней мысли. В ней еще не проснулась покорительница сердец — пока.

Прошел час, а Дромор все не появлялся. Одиночество этого юного существа в столь неподобающем ей жилище начало угнетать Леннана.

Что она делает по вечерам?

— Иногда хожу с папой в театр, а больше сижу дома.

— Ну, а дома что?

— Да так, читаю или разговариваю по-французски.

— Что? Сама с собой?

— Ну да. И еще иногда с Оливером, когда он приходит.

Значит, этот Оливер приходит!

— А давно вы знакомы с Оливером?

— О да! С самого детства!

Он чуть было не сказал: разве же это давно? Но удержался и вместо этого встал, чтобы попрощаться.

Она вцепилась ему в рукав и быстро сказала:

— Нет, вы еще не уйдете!

При этом вид у нее был, как у щенка, собравшегося в шутку вас укусить: верхняя губка приподнята над рядом мелких белых зубов, крепко впившихся в нижнюю, и подбородок слегка выпячен. Вот она какая бывает — капризная, властная!

Но он улыбнулся и произнес:

— Увы, к сожалению, мне нужно идти!

И благовоспитанность тотчас же к ней возвратилась, она только заметила с грустью:

— Вы не называете меня по имени. Оно вам не нравится?

— Нелл?

— Да. На самом-то деле, конечно, Элинора. Оно вам не нравится?

Будь даже это имя ему отвратительно, он все равно мог ответить только:

— Что вы, очень нравится!

— Ой, я ужасно рада! До свидания.

На улице он чувствовал себя так, будто его не за рукав взяли, а зацепили за самое сердце. И теплое, смятенное чувство не покидало его всю дорогу домой.

Переодеваясь к обеду, он вопреки обыкновению пристально разглядывал себя в зеркале. Да, его темные волосы еще густы, но с заметной проседью; под глазами множество морщин, и сами глаза, все еще живые, особенно, когда он улыбается, совсем провалились, словно жизнь загнала их в самую глубь. Скулы выступили, щеки худые и темные, а челюсти чересчур решительно сжаты и жестки под черными усами. Словом, лицо человека, немало пережившего на своем веку, и в нем нет ничего, что могло бы приглянуться ребенку и вызвать его симпатии.

Он еще стоял и изучал свою наружность, когда вошла Сильвия со свежим флаконом одеколона. Она ему постоянно дарила что-то, — у нее это всегда получалось как-то особенно мило. На ней было серое, с широким вырезом платье, и ее бледной, безмятежной миловидности, почти не затронутой временем, и блекло-золотистым волосам недоставало до подлинной красоты лишь какой-то глубины и заразительной огненности, как духу ее не хватало примеси чего-то острого, он сам не знал, чего. Он ни за что на свете не признался бы ей, что думает так. Если ты не можешь скрыть своей мелочной неудовлетворенности от такого доброго, преданного и любящего существа, то чего ты вообще стоишь?

В тот вечер она опять спела ему «Замок Дроморов» с этим странным, навязчивым припевом. Когда же она ушла наверх и он остался с сигарой у камина один, ему примерещилось, будто девушка в темно-красном платье вошла в комнату и села напротив, не сводя с него глаз, как тогда, во время их разговора. Темно-красный цвет был ей к лицу. Особенно, когда она говорила: «Нет, вы еще не уйдете!» Странно было бы, если при таком воспитании в ней не затаился бы капризный бесенок!

На следующий день его вызвали из мастерской, и он увидел в гостиной необычайное зрелище: Джонни Дромор вел безупречно светскую беседу с Сильвией, совсем почти не таращась! Ездит ли миссис Леннан верхом? Ах, не хватает времени? Конечно, конечно! Верно, приходится помогать Марку в его... э-э... Нет? Ах, вот как! Значит, много читает? Он-то сам почти ничего не успевает читать, ужасно неприятно, когда совсем нет времени на чтение! А Сильвия слушала и улыбалась, очень спокойная и любезная. Для чего это Дромор явился? Провести разведку в чужом стане, выяснить, почему Леннан и его жена не придают значения слову «внебрачная», — респектабельный ли у них дом?.. С этими... как их?.. художниками надо быть осторожнее, даже если они твои старые однокашники!.. Делает ему, конечно, честь, что он так заботится о благе дочери, даже отрывая время от созидания идеальной скаковой лошади! В целом он, видимо, склонялся к заключению, что они могут быть полезны Нелл в предстоящие трудные времена, когда ей придется «всюду бывать»; постепенно кристальная доброта Сильвии оказала на него свое действие, и он начал даже утрачивать обычную настороженность человека, опасющегося, как бы не проиграть в вечном пари жизни, готов, кажется, был расстаться со своим всегдашним панцирем — насмешкой. Было просто облегчением увидеть, когда они оставили общество Сильвии, как прежнее выражение пошленького любопытства снова появилось в его глазах, словно при всех своих родительских опасениях он, с другой стороны, все-таки надеялся обнаружить что-нибудь... эдакое в таинственной Мекке удовольствий — мастерской этого... как его?.. художника. Весело было наблюдать, как облегчение боролось в нем с досадой. Увы! Ни натурщицы, ни даже голой статуи; одни только бюсты да фигурки животных и тому подобные пресности — абсолютно ничего такого, что могло бы вызвать краску на лице молодой девушки и блеск в глазах Джонни Дромора.

С каким забавным видом ходил он молча вокруг двух овчарок, словно обнюхивая их своим длинным наморщенным носом! С какой

забавной внезапностью заявил: «Чертовски хорошо! Ты не вылепишь мне Нелл на лошади?» С какой подозрительностью выслушал ответ:

— Ну что ж, может быть, я и сделал бы с нее статуэтку; тогда ты получишь слепок.

Уж не думал ли он при этом, что его хотят перехитрить? Потому что он снова замер на мгновение, а потом уже отозвался, словно решил принять пари:

— Идет! Если тебе надо будет поездить с ней, чтобы приглядеться, я всегда подберу тебе лошадь.

Когда он ушел, Леннан еще долго стоял в сгущавшихся сумерках перед своими неоконченными собаками. Опять это чувство досады от вторжения чуждого ему мира, враждебного, тупого! Зачем допускать Дроморов в свою жизнь? Он запер мастерскую и вернулся в гостиную. Сильвия сидела на откинутой каминной решетке и глядела в огонь; когда он опустился в кресло, она подвинулась и прислонилась спиной к его коленям. Свеча, горевшая на столике, бросала отсветы на ее волосы, на щеку и подбородок, так мало изменившиеся с годами. Она казалась по-особенному красивой в свете этого единственного огонька, этого колеблющегося язычка пламени, медленно, но верно сжигающего бледный воск свечи. Пламя свечи из всех неживых предметов самое живое, всего более похожее на маленького духа, такое изменчивое, неуловимое, что порой не верится, огонь ли это вообще? Сквозняк трепал его, клоня то в одну сторону, то в другую, и Леннан встал, чтобы закрыть окно. Когда он вернулся, Сильвия сказала:

— Мне понравился мистер Дромор. По-моему, он лучше, чем кажется с виду.

— Он попросил меня сделать статуэтку его дочери.

— Ты согласился?

— Не знаю еще.

— Если она действительно такая хорошенькая, то отчего бы тебе не взяться?

— Хорошенькая — не то слово; но наружность у нее необычная.

— Она обернулась и поглядела на него снизу вверх, и он сразу сердцем почувствовал, что сейчас придется отвечать на трудный вопрос.

— Марк!

— Да?

— Я хотела спросить тебя: ты сейчас счастлив?

— Конечно.

Что еще мог он ответить? Рассказать о тревоге последних месяцев, смешной для всякого, кто не испытывает ее, значило бы только взволновать и встревожить ее без нужды...

А Сильвия, получив ответ на свой вопрос, снова отвернулась к огню и сидела молча, прислонившись к его коленям.

Три дня спустя овчарки, которых с таким трудом удалось усадить в нужной позе, вдруг вскочили и подбежали к дверям мастерской. За порогом на улице оказалась Нелл Дромор на стройной черной кобылке с белой звездочкой, белыми бабками и козьими ушками чертенка, настороженными и чуть не вплотную сведенными на макушке.

— Папа сказал, чтобы я заехала показать вам Сороку. Она плохо умеет стоять на месте. Это ваши собаки? Какие милые!

Она уже сняла колено с луки седла и соскользнула на землю; и овчарки тут же встали на задние лапы, упираясь ей в пояс. Леннан держал черную кобылку — своенравное создание, вся огонь и нервы; шкура, как атлас, влажные глаза, а ноги очень прямые и редкий неподстриженный хвост. В ней не было ничего от той слащавой красоты, которая так расхолаживает художника.

Он забыл о наезднице, пока та не оторвалась от собак, говоря:

— Значит, она вам понравилась! Как вы добры, что согласились нас лепить!

Потом она уехала, все оглядываясь, пока не завернула за угол, а он хотел было снова усадить псов в прежней позе. Но они никак не могли успокоиться, беспрестанно бегали к дверям, прислушивались, что-то нюхали; и все как-то разладилось, нарушилось.

В тот же вечер по предложению Сильвии они отправились с визитом к Дроморам.

Входя, он слышал мужской голос, довольно высокий, говоривший на непривычном языке, потом голос Нелл:

— Нет, не так, Оливер. «Dans l'amour il y a toujours un qui aime, et l'autre qui se laisse aimer».^[18]

Она сидела в кресле отца, а на подоконнике примостился незнакомый молодой человек, который тут же встал и застыл, сохраняя довольно дерзкое выражение на широком красивом лице. Леннан разглядывал его с интересом — лет, вероятно, двадцати четырех, вид

франтоватый, гладко выбрит, волосы курчавые, темные, карие глаза поставлены широко и, как на фотографиях, что-то смелое в лице. Голос его в ответ на приветствие прозвучал высоко, но приятно, с чуть заметной аристократической ленцой.

Они пробыли там всего несколько минут, и, спускаясь по полутемной лестнице, Сильвия сказала:

— Как она мило попрощалась — словно подставляла лицо, чтобы ее поцеловали! По-моему, она прелесть. И молодой человек тоже так думает. Они отлично подходят друг к другу.

— Да, кажется, — отрывисто отозвался Леннан.

VI

После этого она часто у них бывала, иногда одна, два раза с Джонни Дромором, иногда с молодым Оливером, который под обаянием Сильвия скоро утратил свою надменную отчужденность. Работа над статуэткой началась. А потом всерьез пришла весна и с нею заботы настоящей жизни: скачки на открытом гладком лугу, где гению Джонни Дромора больше уже не угрожали опасности незаконных, непредусмотренных лошадиных альянсов. Он обедал у них накануне первых Ньюмаркетских скачек. Ему очень нравилась Сильвия, и он всегда говорил Леннану при прощании: «Очаровательная женщина твоя жена!» И она тоже питала к нему слабость, угадав под светской искушенностью полную его беспомощность и жалея его.

В тот вечер, когда он ушел, она сказала:

— Не пригласить ли нам к себе Нелл на то время, пока ты кончаешь статуэтку? Отец ее теперь постоянно в разъездах, и ей, должно быть, очень одиноко.

Так похоже на Сильвию — предложить это; но приятно ему будет или неприятно пребывание в их доме этой девочки с ее причудливой «взрослостью», доверчивостью и глазами «Пердиты»? Он и сам не знал.

Она приняла приглашение с трогательной готовностью — так собаки, когда уезжают их хозяева, привязываются к тому, кто готов о них позаботиться.

И она не доставила хлопот, слишком хорошо привыкнув сама занимать себя; забавно было следить за ее постоянными переходами от ребячества к светскости. Новое ощущение — юное существо в доме. Оба они с Сильвией хотели детей, но судьба им не благопритствовала. Дважды вмешалось нездоровье. Может быть, все тот же недостаток остроты и живости и помешал ей сделаться матерью? Она сама росла единственным ребенком, так что племянников и племянниц у нее тоже не было. Сыновья Сесили воспитывались в закрытых школах, а теперь разъехались по свету. Да, то было новое ощущение, и прежняя тревога Леннана, казалось, растворилась и исчезла в нем.

Помимо тех часов, когда Нелл ему позировала, он старался видаться с ней поменьше, предоставляя ей греться под крылышком Сильвии, но она как будто бы ничего другого и не желала. Таким способом он растягивал удовольствие, которое доставляли ему ее неожиданные вспышки оживления и еще более неожиданные возвраты задумчивости, и то эстетическое наслаждение, какое получал он при виде ее, чей странный, то ли зачарованный, то ли чарующий взор таил в себе дремлющую, грустную нежность, словно грудь ее переполняли горячие чувства, которым не было выхода.

Каждое утро после «сеанса» она еще час оставалась в мастерской, склонившись над собственным рисунком, — надо сказать, тут дело подвигалось плохо; и он нередко ловил на себе взгляд ее больших глаз, когда разглядывал своих овчарок, которые непременно располагались, отчаянно моргая, у ее ног — так велика была ее притягательная сила. Его птицы — галка и сова, — свободно распорядившись в мастерской, тоже мирились с ее присутствием, хотя других женщин, кроме уборщицы, они не терпели. Галка садилась ей на плечо и поклевывала ее платье, а сова лишь состязалась с ней в упорстве колдовского взгляда, и в состязаниях этих ни одной из сторон не удавалось одержать победу.

Теперь, когда Нелл гостила у них, Оливер Дромор просто осаждал их дом, появляясь в любые часы под самыми искусственными предложениями. Она держалась с ним до предела капризно: то вовсе не достаивая словом, то ласково, как с братом; и бедный юноша при всей своей высокомерной небрежности не сводил с нее взора — несчастного или восторженного, смотря по ее настроению.

Один из тех июльских вечеров особенно запомнился Леннану. После целого дня трудов он пришел из мастерской выкурить в саду папиросу и понежиться в последних лучах солнца, прежде чем оно скроется за стеною. Вдалеке играла вальс шарманка, и он уселся под окном гостиной на кадку с гортензией и стал слушать. Ему ничего не было видно, кроме квадрата очень синего неба над головою и белого дымного султана, тянувшегося из кухонной трубы; и слышно тоже ничего не было, кроме шарманки и нескончаемого гомона улицы. Дважды пролетели птицы, скворцы. Над всем царил покой, и мысли его плыли в воздухе, подобно дыму от его папиросы, навстречу чьим-то еще мыслям, ибо мысли ведь живут своей быстролетной жизнью,

познают желание, находят себе пару, сочетаются друг с другом и производят потомство. Разве не может этого быть? Все возможно в этом мире чудес. Вот и вальс, доносящийся сюда, найдет какую-нибудь мелодию, чтобы соединиться, слиться с нею и породить новое звучание, а оно, в свою очередь, поплывет по воздуху вдогонку за писком комара или жужжанием мухи, чтобы тоже породить потомство. Удивительно, как все в мире стремится найти себе пару! На розовом цветке гортензии он заметил шмеля. Подумать только: шмель в этом царстве черепицы, гравия и растений в кадках! Одиноким, мохнатым, он дремотно покачивался на лепестках, словно запомнил, для чего он здесь, — видно, и его отвлекли от трудов прощальные лучи солнца. Крылышки его, аккуратно сложенные на спинке, блестели, и глаза словно бы были сощурены. А шарманка все не умолкала, все наигрывала свою песенку тоски, тоски и ожидания...

Потом из открытого окна у него над головою послышался голос Оливера Дромора, — его всегда можно было узнать, высокий, чуть растягивающий слова, — о чем-то просящий, сначала тихо, потом настойчиво, требовательно; и вдруг в ответ прозвучал голос Нелл:

— Нет, нет, Оливер! Не хочу!

Он встал, чтобы отойти и не подслушивать больше. Но в это время в доме хлопнула дверь, и он увидел Нелл в окне над собою; его голова приходилась как раз у ее пояса. Лицо ее заливала краска, серые глаза грозно горели, губы приоткрылись. Он спросил:

— Что случилось, Нелл?

Она наклонилась и взяла его за руку; прикосновение ее обжигало, как огонь.

— Он поцеловал меня! А я не хочу и не буду его целовать!

В голове у него промелькнул обычный набор утешений, какие говорят обиженному ребенку; но почему-то ему было не по себе. А она вдруг опустилась на колени и прижала горячий лоб к его губам.

Словно она в самом деле ребенок, которому обязательно надо, чтобы его поцеловали туда, где больно.

VII

После этой странной сцены Леннан долгое время размышлял, не следует ли ему поговорить с Оливером. Но что он мог сказать, и по какому праву, и с каким чувством? Или же поговорить с Дромором? Но не так-то просто говорить на подобные темы с человеком, на чей ипподром духовным тонкостям вход запрещен. Не мог он себя заставить поговорить и с Сильвией: рассказать об этом детском признании и о трепетном миге, когда, ища у него утешения, она прижала горячий лоб к его губам, — значило бы обмануть ее доверие. Пусть Нелл сама расскажет про это Сильвии, если захочет.

Из затруднения его вывел сам юный Оливер, явившись на следующий день к нему в мастерскую. Он вошел с непринужденным и безупречным видом истинного Дромора, в цилиндре, в черной визитке и восхитительных лимонно-желтых перчатках; чем вообще этот молодой человек занимался, помимо того что состоял в территориальных войсках и всю зиму напролет охотился, знал, видимо, только он сам. Он не извинился, что потревожил Леннана, а некоторое время просто сидел, молча попыхивая папиросой и теребя уши овчаркам. Леннан, не оставляя работы, ждал. Ему всегда нравилось что-то в его широком, красивом лице под темными курчавыми волосами, в его заносчиво-жизнерадостном выражении, сейчас совершенно померкшем.

Наконец Оливер встал и подошел к неоконченной статуэтке «Девушка верхом на кобыле Сороке». Повернув голову так, что лица его Леннан не видел, он сказал:

— Вы с миссис Леннан ужасно добры ко мне; я вчера вел себя как подлец. Я решил сказать вам. Понимаете, я хочу жениться на Нелл.

Леннан рад был, что лицо юноши благоговейно отвернуто. И только когда руки его вновь занялись привычной работой, он ответил:

— Она ведь еще совсем ребенок, Оливер.

И заметив, как неловко смяли глину пальцы, подивился самому себе.

— В этом месяце ей будет восемнадцать, — услышал он голос Оливера. — Когда она начнет выезжать, знакомиться с людьми, я

просто не знаю, что будет со мной. На старину Джонни положиться нельзя.

Лицо юноши было пунцовым; он забылся и больше не прятал его. Потом оно побледнело; он говорил сквозь стиснутые зубы:

— Она меня с ума сводит. Я просто не знаю, как... Если она мне не достанется, я пушу себе пулю в лоб. Я не шучу, я знаю себя. Это все ее глаза. Они душу из тебя вынимают, вынут и бросят... — Рука в лимонной перчатке уронила на пол погасший окурок. — Говорят, такой была ее мать. Бедняга Джонни! Как вы думаете, могу я надеяться, мистер Леннан? Не сейчас, понятно, не сию минуту; я сам знаю, что она еще слишком молода.

Леннан заставил себя ответить:

— Полагаю, что да, мой милый, полагаю, что да. Вы не разговаривали с моей женой?

Оливер покачал головой.

— Она слишком хорошая — ей, наверно, и непонятно будет, что я испытываю.

Кривая улыбка скользнула по губам Леннана.

— Во всяком случае, дайте Нелл время. Может быть, осенью, когда она возвратится из Ирландии...

Молодой человек отозвался невесело:

— Да. До осени у меня еще есть время. Но я знаю, что не вытерплю и тоже поеду туда. — Он взял шляпу. — Наверно, я не должен был приходить и надоедать вам этим разговором, но Нелл о вас такого высокого мнения; и потом вы так непохожи на других людей, я подумал, вы не рассердитесь. — Он повернулся к дверям. — Это не пустые слова, что я сейчас сказал насчет пули в лоб. Иногда просто так говорят, но я всерьез.

Он надел свой глянцевитый цилиндр и вышел.

Леннан стоял, глядя на статуэтку. Вот, стало быть, как. Страсть сокрушает даже крепости «дроморизма». Страсть! Прихотлив ее выбор — не угадаешь, в каком сердце вздумается ей расцвести!

«Вы так непохожи на других людей, я подумал, вы не рассердитесь!» Откуда знал этот юноша, что Сильвии непонятна будет его необузданная страсть? И что подсказало ему, что он, Леннан, его поймет? Значит, есть что-то у него в лице? Должно быть! Даже

Джонни Дромор — скрытнейший из людей — поверил ему повесть о том часе своей жизни, когда буря вынесла его в открытое море!

Да! А из этой статуэтки толку все равно не выйдет, как он ни старайся. Оливер прав: тут все дело в ее глазах! Как они клубились тогда в ребяческой ярости — если про глаза можно сказать, что они клубились; и как манили, жаловались, когда она, еще ребячливее, обиженная, приблизила к нему лицо! Если они сейчас у нее такие, то что будет, когда в ней проснется женщина? Лучше бы поменьше о ней думать? Лучше бы делать свое дело и не забывать, что ему скоро будет сорок семь лет. И слава Богу, что через неделю она уезжает в Ирландию.

В последний вечер перед ее отъездом они возили ее в оперу слушать «Кармен». Он запомнил, что на ней было закрытое белое платье и темно-красная гвоздика за ленточкой, прихватывавшей вьющиеся волосы, еще не уложенные в прическу. Она сидела, как замороженная, упиваясь этой оперой, которую сам он слышал уже раз двадцать; то и дело трогала его или Сильвию за рукав, спрашивая шепотом: «А это кто?», «А что будет дальше?» Кармен привела ее в восторг, дона Хозе она нашла «слишком жирным для такого кургузого мундира», но потом, ослепленный ревностью, он в последнем акте поднялся на недостижимую высоту. Вне себя от возбуждения она вцепилась в руку Леннана, и когда Кармен наконец упала мертвая, так ахнула, что на них оглянулись все соседи. Ее переживания были гораздо трогательнее того, что происходило на сцене; и ему все время хотелось погладить ее по волосам и оказать: «Ну, ну, не надо, детка, ведь это все понарошку». Когда же по окончании оперы добрейшая резанная дама и ее незадачливый толстяк-возлюбленный явились перед занавесом, она окончательно забыла свои замашки светской дамы и, подавшись вперед в кресле, хлопала в ладоши что было сил. Хорошо, что Джонни Дромор не мог ее тогда видеть! Но поскольку все на свете имеет конец, настало время и им покинуть театр. Проходя в вестибюль, Леннан почувствовал, как за его палец зацепился ее горячий мизинец, словно ей просто во что бы то ни стало нужно было за что-нибудь ухватиться. Он не знал, как ему с этим мизинцем быть. И она, видно, почувствовала его растерянность, потому что вскоре выпустила его палец. В кэбе всю дорогу она молчала. С тем же задумчивым видом она съела свои бутерброды, запив их лимонадом,

подставила Сильвии щеку для поцелуя и прежним светским тоном попросила их не провожать ее завтра: ей предстояло подняться в семь утра, чтобы поспеть на поезд. Потом, протянув руку Леннану, с большой серьезностью сказала:

— Я ужасно благодарна вам за сегодняшний вечер. До свидания!

Он целых полчаса стоял у окна и курил. Фонаря напротив не было, и ночь бархатом чернела над платанами. Потом он со вздохом закрыл окно и, не зажигая света, на цыпочках поднялся вверх. Вдруг в коридоре белая стена двинулась ему навстречу. Тепло, благоухание, звук, похожий на чуть внятный вздох, и что-то мягкое очутилось у него в ладони. А стена отступила, и он напрасно стоял прислушиваясь — ни звука, ничего! У себя в комнате он рассмотрел мягкий комочек, что лежал у него на ладони. Это была гвоздика, которая рдела сегодня у нее в волосах. Что это ей вздумалось дарить ему цветок? Кармен! Ах да, Кармен... И он вытянул руку с цветком, глядя на него почти с ужасом; но аромат достигал его ноздрей. И тогда он вдруг сунул его, свежий и живой, прямо в пламя свечи и держал, глядя, как горят и закручиваются лепестки, пока цветок не обуглился до бархатной черноты. Но тут же раскаялся в своем жестоком поступке. Цветок был все еще красив, но аромат его исчез. И, повернувшись к окну, он швырнул его подальше, в темноту.

VIII

Удивительно, как мало они о ней разговаривали, когда она уехала, — ведь все-таки она прогостила у них довольно долго. И от нее они получили лишь одно письмо, адресованное Сильвии и заканчивавшееся такими словами:

«Папа просит передать свой сердечный привет; кланяюсь Вам, мистеру Леннану и всему зверью. Нелл.

На будущей неделе сюда собирается Оливер. Мы поедem на какие-то скачки».

Конечно, говорить о ней было трудно, не расскажешь же про эту выходку с цветком, слишком уж эксцентричную: Сильвия истолковала бы ее ложно — как и всякая женщина. А ведь, в сущности, это был лишь свободный порыв чувствительной детской души, взволнованной спектаклем и жаждавшей выразить свое волнение. Не более, как минутная ребяческая вспышка, мимолетное, еще детское прозрение тайн страсти. Нет, он не мог выдать эту ее прелестную, наивную шалость. И оттого, что он не хотел ее выдавать, он был особенно нежен с Сильвией.

Они еще не думали о том, куда им поехать в этом году, и он с готовностью принял ее предложение пожить в Хейле. Там его, наверно, покинет это непонятное чувство душевной тревоги. Они не были в старом имении так много лет; после смерти Горди дом большей частью сдавался в наем.

Они уехали из Лондона в конце августа. Наступал вечер, когда поезд подошел к их станции. Жимолость давно уже не росла у ограды благоустроенного вокзала, где двадцать восемь лет назад он стоял, глядя, как поезд увозит Анну Стормер. В наемном экипаже Сильвия прижалась к нему и под ветхим фартуком взяла его за руку. Оба они равно испытывали волнение при виде старого дома. Из прежних обитателей там не осталось никого — только сам дом и деревья, только совы и звезды, река, парк и камень-дольмен! Было уже темно, когда они доехали; к их приезду приготовили только спальню и две комнаты внизу, и там топились камины, хотя погода стояла еще совсем

летняя. Все те же препротивные усопшие Хезерли глядели с черных дубовых панелей. Все тот же запах яблок и некогда обитавших здесь мышей застоялся в темных коридорах с их лестницами и лестничками в самых неожиданных местах. Все было до удивления такое же, как это обычно бывает со старыми домами, которые сдают в наем со всей обстановкой.

Как-то ночью он проснулся. За распахнутыми, в раздвинутых занавесях окнами ночь роилась мириадами звезд — столько их дрожало и плавало там, в вышине, а издали доносилось печальное, бархатисто-мягкое уханье совы.

Голос Сильвии подле него произнес:

— Марк, та ночь, когда твоя звезда запуталась у меня в волосах, помнишь ее?

О, да, он помнил. А в его уме, едва очнувшись от сонных грез, звучали и звучали непонятным, бессмысленным припевом слова: «Никогда, никогда не покину я мистера Микобера...».^[19]

То был приятный месяц. Он читал, бродил с собаками по окрестностям, лежал подолгу между валунами или у реки, наблюдая зверей и птиц.

Старая теплица — храм, в котором некогда стояли шедевры его юности, — уцелела; в ней теперь хранились садовые лейки. Но за весь месяц он не испытал ни намека на желание работать. Он считал дни — без нетерпения, без скуки; просто ждал, но чего, он и сам не мог сказать. А Сильвия была счастлива, она вся расцвела в этом краю своего детства, утратила под лучами солнца обычную прозрачную белизну и даже начала опять носить соломенную шляпку, в которой выглядела совершенной девочкой. Форель, некогда столь претерпевшая от бедного Горди, мирно жила в реке. В парке не прозвучало ни единого выстрела; кролики, голуби, даже немногочисленные куропатки наслаждались, непуганные, тишиной ранней осени. Папоротник и листва деревьев уже пожелтели, и в дымке сентябрьского ясного дня парк стоял снизу доверху золотой. Над всем царил какая-то мягкая задушевность. А из Ирландии пришла только одна цветная открытка с надписью: «Это наш дом. Нелл».

В конце сентября они возвратились в Лондон. И сразу же к нему вернулась его мучительная, непонятная тревога, это чувство, что его

тянет куда-то прочь от самого себя; он даже возобновил свои одинокие прогулки в парке, часами шагая по усыпанной листьями траве, все выжидая, все томясь — а о чем?

У Дроморов всеведущий слуга не смог ему сказать, когда приедет его хозяин; они с мисс Нелл после Селинджеровских скачек отправились в Шотландию. Почувствовал ли Леннан разочарование? Пожалуй, нет, — скорее облегчение. Но душевная тревога по-прежнему не покидала его, набирая силы в атмосфере тайны и одиночества, — ведь этим он ни с кем не мог поделиться. Почему он все никак не осознает, что молодость прошла, что страсть осталась позади, что для него наступила осень? Неужели он не может уразуметь ту простую истину, что «время уплывает безвозвратно»? Как и раньше, единственным прибежищем оставалась работа. Овчарки и «Девушка верхом на кобыле Сороке» были закончены. И он задумал фантастический барельеф: нимфа выглядывает из-за скалы, а к ней из тростников подбирается мужчина с безумным взглядом. Если бы удалось в чертах нимфы запечатлеть те чары Юности, Жизни и Любви, что так манят его самого, а в лице мужчины — чувства, его обуревающие, тогда, быть может, улеглась бы эта душевная тревога. Избавиться от нее любой ценой! И он работал весь октябрь, яростно, упорно, но почти ничего не успел... Да и на что можно было рассчитывать, когда Жизнь все время стучалась потихоньку в его двери?

А во вторник после Ньюмаркетских скачек под вечер, когда сумерки уже сгущались, Жизнь отворила его двери и вошла. На ней было темно-красное платье — новое, и ее лицо, ее фигура были совсем не те, какими он их помнил! Словно очнулись от сна и вдруг расцвели. Теперь она уже была не ребенок, это сразу можно было видеть. Щеки, рот, шея, талия — все как-то оформилось, стало законченным; вьющиеся русые волосы были теперь уложены в прическу под бархатной шляпкой, только огромные серые глаза остались те же. И при виде ее его сердце рванулось и упало, ибо вся его неясная тревога обрела сразу смысл.

Потом он вдруг в смятении подумал, что последний раз виделся с этой девочкой — теперь уже взрослой девушкой — в тайную минуту взрыва чувств; и эта минута, быть может, означала для нее гораздо больше и совсем не то, что он даже в мыслях не осмелился бы ей

внушить. И, точно сердце его и не сжималось и не трепетало, он протянул ей руку со словами:

— А, Нелл! Наконец-то вернулись! Как вы выросли!

В следующий миг ноги у него едва не подкосились, потому что она обвила его шею руками и прильнула к нему всем телом. Он успел ужаснуться: «Это Бог знает что!» — прижал ее к себе на мгновение — кто мог бы устоять? — и сумел оттолкнуть ее легонько, изо всех сил заставляя себя думать: «Она еще ребенок! Все это ничего не значит, как тогда, после „Кармен“! Она не знает, что чувствую я!» Но сам он испытывал почти непреодолимое желание схватить ее и сдавить в объятиях. От прикосновения к ней в прах рассыпалась вся неясность его тревоги и осталась полная определенность и пламенный жар в крови. Он проговорил неуверенно:

— Садитесь к камину, дитя мое, и расскажите мне, как вы жили.

Если не держаться за спасительную мысль, что она еще ребенок, то он потеряет голову. Пердита — «Потерянная»! В самом деле, подходящее имя для нее, стоящей в отсветах огня, так что маленькие огоньки пляшут в ее глазах — еще более колдовских, чем прежде! И, чтобы укрыться от их чар, он нагнулся и помешал угли.

— Вы уже видели Сильвию?

Но он понял, что она ее не видела, еще прежде, чем она нетерпеливо дернула плечом. И, овладев собой, он спросил:

— Что с вами, дитя?

— Я не дитя.

— Да, мы с вами оба постарели. Мне на днях исполнилось сорок семь.

Она схватила его за руку — Боже, как гибки ее движения! — и быстро проговорила:

— Вы вовсе не стары; вы совсем молодой.

Вне себя, с гулко бьющимся сердцем, все еще глядя в сторону, он глухо спросил:

— А где Оливер?

Она выпустила его руку.

— Оливер? Я его ненавижу.

Не решаясь оставаться рядом с ней, он начал ходить из угла в угол мастерской. А она провожала его своим удивительным взором, и отсветы огня плясали на красном платье. Что за необычайная

уверенность! Что за сила созрела в ней за эти месяцы! Неужели он выдал себя, открыл ей, что подвластен этой силе? И неужели все это родилось из одного мгновения в темном коридоре, из одного цветка, вложенного ему в ладонь? Почему он тогда не заговорил с ней сердито, не сказал ей, что она глупая маленькая фантазерка? Одному Богу известно, что она теперь насочиняла! Но кто мог подумать... кто мог бы предвидеть? И он опять решительно вернул свои мысли к одной фразе: «Она еще ребенок, она еще только ребенок!»

— Ну, так как же, — повторил он, — вы расскажете мне, как вы жили в Ирландии?

— О! Скучала, и все, все было скучно без вас.

Это было сказано без колебаний, без смущения, и он мог только вымолвить в ответ:

— Значит, вам недоставало наших уроков рисования!

— Да. Можно мне завтра прийти?

Тут-то бы как раз и сказать: «Нет! Вы неразумный ребенок, а я старый дурак!» Но у него не достало смелости и ясности мыслей, да и решимости! И, ничего не ответив, он подошел к двери зажечь свет.

— О нет! Пожалуйста, не надо! Так гораздо лучше.

Затемненная комната, окна, расцвеченные голубыми сумерками, лихорадочный блеск пламени, смутные темные пятна на гипсе и бронзе — и одна эта светом рдеющая фигура перед камином! А ее голос чуть жалобно продолжал:

— Вы не рады, что я вернулась? Мне вас оттуда плохо видно.

Он возвратился в круг света перед камином, и она тихонько, удовлетворенно вздохнула. Потом ее юный спокойный голос отчетливо произнес:

— Оливер хочет, чтобы я вышла за него замуж, но я, разумеется, не согласна.

Он не осмелился спросить: почему же? Он не осмелился произнести ни слова. Опасность была слишком велика. И тут-то последовали ее удивительные слова:

— Вы же знаете, почему. Разумеется, знаете.

Нелепо, почти стыдно было понимать смысл ее слов. И он стоял и глядел перед собой, не произнося ни слова, а в груди у него стыд, ужас, гордость и безумное ликование смешались и кипели одним небывалым чувством. Но он только сказал:

— Пойдемте, дитя мое; мы с вами сегодня оба что-то не в себе.
Да, пойдемте в гостиную.

IX

После ее ухода, вернувшись снова в темноту и безмолвие мастерской, он долго сидел перед камином, чувствуя полное смятение. Почему он не может быть таким, как все эти животные в образе мужчины, которые преспокойно пользуются дарами богов? Ему казалось, что в пасмурный ноябрьский день кто-то раздвинул щелку в трезвых шторах неба, — а там, неожиданный, стоит Апрель: белый пышный яблоневого цвет, лиловая тучка, радуга, трава, ослепительно зеленая, сияние, льющееся Бог весть откуда, и такая звенящая радость жизни, что сердце замирает от страсти. Вот, оказывается, каким колдовским, пьянящим очарованием завершился этот год его тоски и тревоги! Немного Весны, нечаянный подарок в разгар его Осени. Ее губы, ее глаза, волосы; ее трогательная привязанность; и сверх всего — хоть в это невозможно поверить — ее любовь. Не любовь, вероятно, а просто детская фантазия. Но на крыльях фантазии это дитя улетит далеко, чересчур далеко — недаром вся она страсть и трепет под тонким налетом смешного «взрослого» хладнокровия.

Снова жить, погрузиться опять в море молодости и красоты, еще раз пережить Весну, избавиться от ощущения, что все уже позади, кроме трезвой рутины семейного счастья; снова еще раз испытать блаженство в любви юного существа, вернуть себе муки и желания, надежды и страхи и любовные восторги молодости — от всего этого поневоле закружится голова даже у самого порядочного человека...

Стоило закрыть глаза, и он видел перед собой ее в отблесках огня, играющих на ее красном платье; снова испытывал блаженную дрожь, как в то мгновение, когда она, войдя, прижалась к нему в искуственном, полудетском порыве; чувствовал, как глаза ее манят, притягивают к себе! Она просто колдунья, сероглазая, русоволосая ведьма во всем, даже в этом пристрастии к красному цвету. И у нее есть ведьмовская власть зажигать лихорадку в крови. Он теперь дивился, как сумел не упасть перед ней на колени тогда же, в кругу света от камина, не обнял ее и не спрятал лицо в этой красной ткани. Почему не сделал он этого? Но думать не хотелось: он знал, что начини он думать, и его будет разрывать на части, тянуть в разные стороны

между разумом и страстью, жалостью и желанием. А он всеми силами души стремился лишь к одному — сберечь это упоительное сознание, что он уже глубокой осенью пробудил любовь в сердце Весны. Невероятно, что она может испытывать к нему такие чувства; но и ошибиться было невозможно. К Сильвии она опасно переменялась; она смотрела на нее там в гостиной с холодным раздражением, таким пугающим еще и оттого, что всего три месяца назад она была с ней сама нежность. А прощаясь, шепнула, трепетно подавшись к нему, как прежде, словно запрокидывала голову для поцелуя: «Значит, мне можно прийти? И, пожалуйста, не сердитесь на меня; я ведь не виновата». Чудовищно в его возрасте позволять молодой девушке любить себя — подвергать опасности ее будущее! Чудовищно, по всем канонам порядочности и благородства! Но ее будущее?.. При таком характере... с такими глазами... с ее происхождением, и таким отцом, и таким образом жизни? Нет, только не думать, ни в коем случае не думать!

Тем не менее он думал, и по нему это было сильно заметно: после обеда Сильвия, положив руку ему на лоб, сказала:

— Ты слишком много работаешь, Марк. Тебе нужно больше бывать на воздухе.

Он крепко сжал ее пальцы. Сильвия! Нет, нет, думать просто нельзя! Но он воспользовался ее словами и сказал, что пойдет подышать немного свежим воздухом.

Он шагал быстро — чтобы избавиться от мыслей, — и сам не заметил, как дошел до реки недалеко от Вестминстера, но тут, повинувшись внезапному душевному толчку, быть может, в поисках противоядия, свернул за громадой собора в узкую улочку, где не был с той летней ночи, когда он потерял то, что было ему тогда дороже жизни. Здесь жила она; вот этот дом, эти окна, мимо которых он ходил, украдкой поглядывая на них с такой тоской и болью. Кто живет в нем теперь? И ему опять привиделось лицо из его прошлого — темные волосы, темные, мягкие глаза, нежный, серьезный взгляд. Оно не упрекало его, ибо это новое чувство было иным, чем та, прежняя любовь. Лишь однажды дано человеку испытать любовь, которая превосходит все, любовь, которая и в бесчестии, горе и смятении духа одна содержит в себе всю истинную честь, радость и душевный покой. Судьба отняла у него эту любовь, сорвала ее, как жгучий ветер срывает

расцветший, совершенный цветок. А это новое чувство — лишь лихорадка в крови, лишь горячая фантазия, погоня за Юностью, за Страстью. Впрочем, что ж! И оно достаточно реально. И в одно из тех мгновений, когда человек возвышается над самим собою и смотрит на жизнь свою сверху и со стороны, Леннан представил себе легкую тень, мятущуюся туда и сюда; соломинку, кружимую вихрем, малую мошку в дыхании бешеного ветра. Где источник этого тайного могучего чувства, налетающего внезапно из тьмы и схватывающего вас за горло? Почему оно приходит именно в этот миг, а не в другой, влечет в одну сторону, а не в другую! Что ведомо о нем человеку, кроме того, что оно заставляет его поворачиваться и кружиться, точно бабочку, опьяненную светом, или пчелу — благоуханием ароматного темного цветка; что оно превращает в смятенную, покорную живую игрушку своих прихотей? Разве однажды оно не привело уже его на грань смерти; неужели же опять оно обрушится на него со всем своим сладким безумием и пьянящим ароматом? Какова же его природа? И для чего существует оно? Зачем эти приступы одержимости, которым нет удовлетворения? Или цивилизация настолько опередила человека, что натура его оказалась втиснутой в чересчур тесную обувь, подобно ножкам китаянок? Что же оно такое? И для чего существует?

И он еще быстрее зашагал прочь.

Улица Пэл-Мэл снова вернула его к действительности, этой подделке под Действительное. Здесь на Сент-Джеймс-стрит находился клуб Джонни Дромора; и, опять повинувшись необъяснимому порыву, он толкнул вертящуюся дверь и вошел. Справляться не было нужды, ибо по вестибюлю шел сам Джонни Дромор: после обеда — за карты. Лоснящийся загар — дар здоровой и сытой жизни на свежем воздухе — покрывал его щеки густо, как сливочный крем. В глазах был тот особый блеск, какой свидетельствует об избытке жизненных сил, и что-то предпраздничное во взгляде, в голосе, в жестах выдавало намерение провести вечерок в свое удовольствие. У Леннана мелькнула издевательская мысль: а что, если сказать ему?

— Здравствуй, старик! Чертовски рад тебя видеть! Что ты поделываешь? Все трудишься? А как супруга? Ездили куда-нибудь? Создал новые шедевры? — И наконец, вопрос, которым можно было воспользоваться, захоти он нанести жестокий удар: — Ты уже видел Нелл?

— Да, она заходила сегодня.

— Ну, как твое мнение? Красавица растет, а?

Все тот же вопрос, а в нем все то же тайное сомнение, но и гордость, будто он хотел сказать: «Я знаю, она не внесена в племенные книги, но ведь, черт подери, она моих кровей!» И, как прежде, минутная мрачность, тут же снова сменившаяся шутливым настроением.

Леннан пробыл с ним всего несколько минут. Никогда еще он не чувствовал себя таким далеким от своего старого школьного товарища.

Нет. Что бы там ни было, Джонни Дромор должен остаться в стороне. Он заслужил это право своими вытаращенными глазами и своим философическим практицизмом, и с этих позиций сбивать его нельзя.

Леннан шел вдоль ограды Грин-парка. В этот последний вечер октября в холодном воздухе висела легкая дымка и чувствовался горький аромат от костров, на которых сжигали палый лист. Что в нем, в этом запахе дыма над горящими листьями, отчего так сжимается всегда его сердце? Символ разлуки! Самого печального, что есть в мире, ибо что нам и в самой смерти, не означай она разлуки? Просто сладкий, долгий сон или же новое приключение. Но если человек кого-то любит — покинуть любимых или остаться покинутым! Да, но не одна смерть приносит разлуку!

Он дошел до переулка, где жили Дроморы. Она сейчас дома — сидит у огня в большом кресле, играет с котенком, думает, грезит — и одна! И он прошел прямо, шагая с такой быстротой, что прохожие оглядывались. Заворачивая за угол, уже у самого дома, он чуть не налетел на Оливера Дромора.

Молодой человек шел с непривычно растерянным видом, меховое пальто его было распахнуто, цилиндр сдвинут на затылок, курчавые волосы выбились на волю, под глазами — темные круги. Этой осенью в нем заметно не хватало обычного дроморовского лоска.

— Мистер Леннан! А я как раз заходил к вам.

Леннан спросил растерянно:

— Вы вернетесь или мне проводить вас немного?

— Я... я предпочел бы здесь, на улице, если вам все равно.

В молчании они дошли до площади. И Оливер сказал:

— Давайте перейдем туда, к ограде.

Они пересекли площадь и пошли вдоль ограды неосвященного сквера, где навстречу им не попадалось ни души. И с каждым шагом неловкость положения становилась для Леннана ощутимей. Было что-то ложное и унижительное в том, что он шел с этим юношей, который несколько месяцев назад исповедался ему в своей любви к Нелл. Он заметил, что они обошли сквер кругом, так и не обменявшись ни словом.

— Итак? — спросил он.

Оливер отвернулся.

— Помните, о чем я рассказывал вам летом? Так вот, стало еще хуже. Последнее время я на стену лез, чтобы хоть как-нибудь да избавиться от этого. Но все без толку. Она меня совсем скрутила.

Про себя Леннан подумал: «Не тебя одного!» Но промолчал. Больше всего он боялся сказать что-нибудь такое, что будет потом вспоминаться как иудино слово.

А Оливер вдруг заговорил горячо и сбивчиво:

— Почему, почему она меня не любит? Я знаю, я не Бог ведь кто, но она знакома со мной всю жизнь, и я всегда ей нравился. Тут что-то есть, не пойму только, что. Не могли бы вы мне помочь как-нибудь с ней?

Леннан указал на ту сторону улицы.

— В каждом из этих домов, Оливер, живет кто-нибудь, кто страдает, оттого что другой человек почему-то его не любит. Любовь приходит, когда ей вздумается, и, когда ей вздумается, уходит; и от нас, бедных, тут ничего не зависит.

— Что же вы мне посоветуете?

У Леннана возникло почти непреодолимое желание резко повернуться и уйти прочь. Но он заставил себя посмотреть юноше в лицо, даже теперь не утратившее своей привлекательности, — быть может, наоборот, ставшее еще приятнее из-за этой бледности и горестного выражения. И проговорил медленно, разглядывая мысленно каждое слово:

— Не берусь давать вам советы. Я мог бы только сказать вам одно: не стоит навязываться, если нас не хотят. Но кто знает? Пока она чувствует, что вы рядом, что вы ждете, она может обратиться к вам в любую минуту. Ваша надежда, Оливер, в том, чтобы держаться как можно благороднее и ждать как можно терпеливее.

Эти малоутешительные слова Оливер выслушал, не дрогнув.

— Понимаю, — оказал он. — Спасибо. Только это нелегко. Я никогда не умел ждать.

И, произнеся эту эпитафию самому себе, он протянул Леннану руку, повернулся и ушел.

Леннан медленно побрел домой, стараясь честно представить себе, как оценил бы его поведение посторонний человек, посвященный во все подробности. В таком положении нелегко сохранить и долю достоинства.

Сильвия еще спать не легла, и он перехватил ее тревожный взгляд. Единственным и неожиданным утешением во всей этой истории было то, что по крайней мере его чувство к ней не изменилось. Оно даже, может быть, стало глубже и нужнее ему.

Как мог он заснуть в ту ночь? А бодрствуя, как мог не думать? И он долгие часы лежал, уставившись широко открытыми глазами в темноту.

Как будто размышления помогают от горячки в крови.

Страсть не считается с правилами игры. Она-то уж во всяком случае свободна от нерешительности и самолюбия; от благородства, нервов, предрассудков, ханжества, приличий; от лицемерия и мудрствований, от страха за свой карман и за положение в мире здешнем и загробном. Недаром старинные художники изображали ее в виде стрелы или ветра! Не будь она такой же бурной и молниеносной, Земля давно бы уже носилась в пространстве опустевшая — свободная для сдачи в наем...

Проведя горячую ночь, Леннан наутро в обычный час ушел к себе в мастерскую и, разумеется, работать оказался не в состоянии. Пришлось даже отпустить натурщика — этот человек был когда-то парикмахером Леннана, но потом стал болеть, впал в бедность и, однажды утром придя в мастерскую, спросил, преодолевая стыд, не подойдет ли Леннану его голова. Испытав его способности стоять неподвижно и дав ему записки к знакомым художникам, Леннан пометил у себя: «Пять футов девять дюймов, хорошие волосы, изможденные черты, лицо страдальческое и жалкое. Попробовать его, если представится возможность». Теперь возможность представилась, и этот человек позировал ему в весьма неудобной позе, принимаясь рассуждать, всякий раз как снимался запрет, о горькой своей судьбе и о наслаждении стричь волосы. Он удалился с простодушным удовольствием человека, которому заплатили сполна, а работы не спрашивают.

И вот, расхаживая из угла в угол по мастерской, скульптор ждал стука в дверь. Что будет, когда она придет? Размышления ничего не прояснили. К его ногам положено все, чего желает живой человек, уже распрощавшийся со своей Весной, — юность и красота, и в этой чужой юности возрождение его самого; только лицемеры и англичане не признаются открыто, что желают этого. И дар этот положен к ногам человека, для которого нет ни религиозных, ни моральных запретов в общепринятом понимании. Теоретически он может его принять. А практически он до сих пор не решил, как ему поступить. Одно только обнаружил он во время ночных размышлений: глубоко заблуждаются

те, кто отвергает принцип Свободы, опасаясь, что Свобода приведет к «свободе нравов». Для всякого мало-мальски порядочного человека вера в Свободу из всех религий самая строгая, она связывает по рукам и по ногам. Трудно ли сломать цепи, наложенные другими, и пуститься во все тяжкие с кличем: «Разорваны узы, я свободен!» Но своему свободному «я» этого не крикнешь. Да, судить себя будет лишь он сам; а от решения и приговора собственной совести уже никуда не уйдешь. И хоть он жаждал опять увидеть Нелл и воля его была словно парализована, все же не раз уже говорил он себе: «Нет, этому быть не должно! Да поможет мне Бог!»

Потом пришел полдень, пришел, а она не пришла. Неужели «Девушка верхом на кобыле „Сороке“» — это все, что он вместо нее сегодня увидит? Неудачная, плохая работа, такая холодная, лишенная ее колдовского очарования. Надо было лучше попробовать написать ее портрет маслом — красный цветок в волосах, капризно сложенные губы и глаза, обреченные или, наоборот, томные, обещающие... Гойя мог бы ее написать!

И тут, когда он уже перестал ждать, она пришла.

Заглянула ему в лицо с порога и проскользнула в комнату так тихонько, так смиренно, просто — послушное дитя... Поразительно, сколько чуткости и вкрадчивости в юных существах, когда они женщины!.. Ни следа вчерашней соблазнительной властности; ни намек вообще на вчерашний день, будто его и не было, — просто дружелюбная, доверчивая девочка. Она сидела, рассказывала ему об Ирландии, показывала ему свои летние рисунки. Не нарочно ли она принесла их, зная, что они вызовут у него жалость к ней? Могло ли быть что-либо невиннее, чем ее поведение в то утро, взывающее ко всему великодушному, отцовскому, что только было в его натуре; казалось, она искала у него лишь того, чего не мог ей дать дом и отец, — хотела быть ему только дочерью!

Потом ушла, так же скромно, как появилась, отказавшись позавтракать с ними, откровенно не желая встречаться с Сильвией. И только тогда он догадался, что она прочла предупреждение в его озабоченном лице и повела себя так, боясь, как бы он не отправил ее домой; только тогда понял, что, взывая к его покровительству, она лишь прочнее связывала его, чтобы ему труднее было вырваться и причинить ей боль. И вся его горячка возвратилась, охватив его с

новой силой, лишь только Нелл исчезла за дверь. Но яснее, чем прежде, он ощущал, что находится во власти сил, с которыми ему не совладать; ибо, как бы он ни отбивался, ни изворачивался, они все равно его настигнут и снова свяжут по рукам и по ногам.

Под вечер всеведущий слуга Дроморов принес ему записку. Всем своим видом — и скромно опущенными глазами и безупречным пробором в волосах — он как бы говорил: «Да, конечно, сэр, вполне понятно, что вы отошли с запиской подальше, чтоб я не видел, но я, сэр, все знаю, я посвящен во все; только вы не беспокойтесь понапрасну: на меня вы можете положиться».

А в записке стояло вот что:

«Вы когда-то обещали, что поедете со мной кататься верхом, — ведь правда же обещали? А до сих пор не выполнили. Пожалуйста, поедemте завтра; вы получите то, чего вам недостает для статуэтки, и перестанете на нее сердиться. Вы сможете взять папину лошадь — он опять уехал в Ньюмаркет, и мне одной очень скучно. Пожалуйста, завтра в половине третьего, здесь.

Нелл».

Колебаться под взглядом этих посвященных глаз было невозможно, следовало ответить сразу «да» или «нет»; и если «нет», это бы означало лишь, что она тогда завтра снова придет в мастерскую. И потому он сказал:

— Передайте просто, что я сказал «хорошо».

— Слушаюсь, сэр, — и от порога: — Мистер Дромор пробудет в отъезде до субботы, сэр.

Ну, для чего он это сказал? Как глупо, что его тайное безумное чувство заставляет его во всем видеть зловещий смысл — и в словах слуги и во вчерашнем визите Оливера. Низкая подозрительность! Он уже чувствовал, почти видел, как марает ему душу эта скрытая низость. Скоро по его лицу можно будет все прочесть. Но что проку тревожиться? Чему быть, то и сбудется, так ли, эдак ли...

И вдруг он с ужасом вспомнил, что сегодня первое ноября — день рождения Сильвии! Он еще ни разу не пропустил, не забыл этот день.

В смятении от такого открытия он едва не побежал к ней и не излил ей свею душу. Потом одумался — вот уж воистину был бы прелестный подарок ко дню рождения! — схватил шляпу и бросился в ближайший цветочный магазин. Владелица его была француженка.

Что у нее есть?

— А что угодно мосье? Des oeillets rouges? J'en ai de bien beaux, ce soir.^[20]

Нет, только не их. Какие-нибудь белые цветы.

— Une belle azalée?^[21]

— Да, это подойдет. Доставить сейчас же, немедленно.

Рядом была лавка ювелира. Он так по-настоящему и не знал, любит ли Сильвия драгоценности, потому что когда-то имел неосторожность заметить, что драгоценности вульгарны. И, чувствуя всю глубину своего падения — ведь он жалкими побрякушками собрался искупить свою вину перед той, о ком не думал целый день, потому что думал о другой, — он вошел в лавку и купил там единственное украшение, при виде которого его не тошнило: две черные грушевидные жемчужины на концах тонкой платиновой цепочки. Выйдя на улицу с покупкой, он увидел над домами в ясной, быстро густевшей синеве неба тончайшую дольку месяца — похоже на серебряную ласточку, которая, закинув назад острые крылышки, летит к земле. Что ж, это предвещает хорошую погоду. Если бы и у него в сердце была хорошая погода! И для того, чтобы азалия успела прибыть раньше него, он несколько раз прошелся взад-вперед по площади, которую они с Оливером обходили дозором накануне вечером.

Когда он вернулся домой, Сильвия как раз ставила белую азалию на окне в гостиной; и, неслышно подкравшись к ней сзади, он защелкнул цепочку у нее на шее. Она обернулась и прижалась к нему лицом. Видно было, что она очень тронута. И грудь ему давило и сжимало горькое сознание, что он предает ее своим поцелуем.

Но и целуя ее, он лишь сильнее ожесточал свое сердце.

Назавтра, вернувшись к начатому вчера Сильвией разговору о том, что он выглядит усталым и должен чаще бывать на свежем воздухе, он сообщил ей, что собирается покататься верхом, но не сказал, с кем. Одобрив это решение, она немного помолчала, потом вдруг проговорила:

— Почему бы тебе не покататься с Нелл?

Он уже настолько утратил чувство собственного достоинства, что, не стыдясь, ответил:

— Ей со мной будет скучно.

— О нет, ей не будет скучно.

Хотела ли она этим что-то сказать? И, чувствуя себя так, словно ему нужно переспорить собственную душу, проговорил:

— Ну что ж, тогда я так и сделаю.

Ему вдруг показалось, что он недостаточно знает свою жену, хотя всю жизнь он считал, что это она недостаточно знает его.

Если бы ко времени второго завтрака она не ушла из дома, тогда он бы сам ушел есть куда-нибудь в кафе: он боялся, что его выдаст выражение его лица, ибо у больных жар всегда усиливается с приближением определенного часа. И в кэбе, по дороге на Пикадилли, его лицо для всякого, кто бы ни заглянул в окошко, изобличало бы скорее больного тяжелой горячкой, а не преуспевающего скульптора средних лет и безупречного здоровья.

Обе лошади уже ждали у дверей: маленькая Сорока и породистая гнедая кобыла, выбракованная из дроморовских скаковых конюшен. Нелл тоже стояла рядом, щеки ее пылали, глаза ярко блестели. Не дожидаясь, пока он ее подсадит, она поднялась в седло с помощью все того же всезнающего слуги. Отчего таким совершенством дышала вся эта картина: она на своей лошадке? В тайном ли соответствии линий тут секрет или же в той мягкости и пылкости ее натуры, которую чувствовало стройное животное?

Поехали молча, но как только стук копыт заглох на буром ковре Ротен-Роу,^[22] она обернулась к нему:

— Как это славно, что вы поехали! Я думала, вы побоитесь, вы ведь боитесь меня.

«Правда твоя», — подумал Леннан.

— Только, пожалуйста, не смотрите, как вчера. Слишком уж хорош сегодня день! О! Я люблю солнечные дни, и люблю верховые прогулки, и... — Она не договорила и взглянула на него. «Не сердитесь на меня, к чему это? — как бы говорила она. — Лучше просто любите меня, и все!» В этом была ее сила — в убеждении, что он ее любит и что так и быть должно; и что она его любит и что так быть должно тоже. Как просто!

Но верховая езда — тоже простое удовольствие; а простые эмоции перебивают друг друга. Скакать на этой гнедой кобыле было на редкость приятно. Уж, конечно, Джонни Дромор сумеет выбрать лошадь себе под седло!

В конце аллеи она вдруг крикнула: «Теперь поехали в Ричмонд!» — и рысью выехала на дорогу, будто знала, что может повелевать им. Послушно следуя за нею, он думал: «Почему? Что в ней такого, чем она может возместить ему утрату работоспособности, достоинства, самоуважения? Что в ней? Всего только ее глаза, и губы, и волосы?»

И она будто знала, о чем он думает, — обернулась назад и улыбнулась.

Так они рысцей переехали через мост, пересекли Барнс-коммон и очутились в Ричмонд-парке.

...Но как только подковы лошадей коснулись травы, она оглянулась на него и стремглав унеслась вперед. С самого ли начала была у нее задумана эта бешеная гонка, или просто прелесть осеннего дня вдруг ударила ей в голову: голубое небо, и медным огнем горящие на солнце папоротники, и листья буков и дубов, — горная Шотландия, заглянувшая на юг, к ним в гости?

После того как в первом рывке гнедая кобыла показала ему, на что она способна, гнаться за Нелл было истинное наслаждение. Через поляны, перескакивая лежащие стволы, по грудь в зарослях папоротника, стрелой по открытым пространствам, минуя стадо удивленных, важных оленей, вверх по отлогому косогору, сплошь изрытому кроличьими норами, и казалось, вот он уже достиг ее, но она вдруг свернула ловко и только мелькнула за стволами деревьев. Вот шалунья! Но ведь тут есть и что-то поглубже шалости. Он поравнялся

с нею наконец и нагнулся, чтобы взять у нее поводья. Но один взмах ее хлыста, едва не пришедшийся ему по ладони, быстрое движение в сторону — и он пролетел на своей кобыле вперед, а она, подняв Сороку на дыбы, поскакала обратно и снова стрелой замелькала между деревьев, пригибаясь под ветками к самой шее своей лошадки. Потом вылетела из рощи и ринулась вниз по косогору. На полном скаку неслась она под гору, а следом за нею Леннан, чуть не лежа на крупе гнедой кобылы, готовый в любую минуту рухнуть с лошастью наземь. Ну и развлечения же у нее! Внизу она повернула и поскакала галопом вдоль подножия холма; и он подумал: «Ну, теперь она от меня не уйдет!» Вверх по склону холма пути не было, и свернуть впереди было тоже некуда.

И вдруг ярдах в тридцати перед собой он увидел заброшенный песчаный карьер; и она — великий Боже! — неслась прямо туда. Он закричал отчаянно, осадил свою кобылу. Но Нелл только взмахнула хлыстом, ударила разгоряченную лошадку и ринулась вперед. Он видел, как Сорока подобралась, сделала прыжок — и вот они летят вниз, зацепились за обрыв, повисли, сорвались, — и она, перелетев через голову лошади, навзничь упала на песок. В ту минуту он ничего не почувствовал, только в сознания у него запечатлелось желтое пятно песка, голубое небо, летящий грач и ее кверху повернутое лицо. Но когда он спустился в карьер, она уже стояла и держала поводья перепуганной лошади. Едва он прикоснулся к ней, как ноги ее подкосились. Она закрыла глаза, хотя он чувствовал, что она не в обмороке; но все равно он продолжал держать ее, прижимаясь губами то ко лбу ее, то к глазам. Потом голова ее вдруг запрокинулась и губы встретились с его губами. А после этого она открыла глаза и проговорила:

— Я не ушиблась, только голова кружится. Сорока разбила колени?

Сам не понимая, что делает, он встал и пошел за лошастью. Целехонькая, она пощипывала травку — песок и папоротники уберегли ее колени. Томный голос у него за спиной произнес:

— Ну, и слава Богу. Не обращайтесь на лошадей внимания. Они придут, когда я позову.

Теперь, видя, что она жива и невредима, он рассердился. Почему она так нелепо вела себя, так ужасно его напугала? Но она все тем же

томным голосом говорила:

— Не сердитесь на меня. Я сначала хотела осадить, а потом подумала: «Если я прыгну, он не сможет оставаться суровым со мной». Вот и прыгнула... Ну, пожалуйста, не переставайте меня любить из-за того, что я не расшиблась.

Глубоко растроганный, он сел подле нее, взял ее руки в свои и сказал:

— Нелл! Нелл! Так нельзя, это — безумие!

— Почему? Не надо только думать об этом! Я не хочу, чтоб вы думали, — хочу, чтобы просто любили меня, и все.

— Дитя мое, вы не знаете, что такое любовь!

В ответ она обхватила его шею руками, но он уклонился от ее поцелуя; тогда, опустив руки, она вскочила.

— Ну и пусть! Но я вас люблю. Вот и думайте об этом, а помешать мне вы не можете!

И, не дожидаясь помощи, забралась на свою Сороку с песочной кучи, у которой они упали.

Спокойной и трезвой была эта поездка домой. Лошади, будто стыдясь недавней безумной гонки, шли бок о бок, так что его рука то и дело касалась ее плеча. Один раз он спросил ее, что она чувствовала во время прыжка.

— Беспокоилась только, успею ли высвободить ногу из стремени. Ужасно было падать и думать о Сорокиных коленях. — И, тронув козьи ушки лошади, ласково проговорила: — Бедненькая ты моя! Завтра у тебя ноги будут болеть.

Опять она была доверчивым, чуть сонным ребенком. Или же это накал прошедших мгновений убил в нем остроту чувства? То был задумчивый, дремотный час — садилось солнце, один за другим загорались фонари, и на всем лежала благодатная дымка забвения!

У подъезда, где ждал грум, Леннан хотел было распрощаться, но она прошептала: «О нет, пожалуйста, не уходите! Теперь я в самом деле без сил — проводите же меня наверх».

И он чуть не на руках пронес ее по лестнице, мимо карикатур из «Ярмарки Тщеславия», по коридору с красными обоями и гравюрами Ван-Беерса, в ту самую комнату, где увидел ее впервые.

Устроившись в кресле Дромора с мурлычущим котенком на плече, она удовлетворенно промолвила:

— Хорошо, правда? Сейчас нам дадут чаю и горячих гренок с маслом.

Леннан остался, и всеведущий слуга внес чай и гренки, ни разу не взглянув на них и сохраняя вид человека, которому известно все, что между ними произошло, и все, чему еще предстоит произойти.

Потом они опять остались одни, и, глядя на нее, вытянувшуюся в большом кресле, Леннан подумал: «Слава Богу, что я тоже устал — душой и телом!»

Но она вдруг подняла на него глаза и, кивнув в сторону портрета, который сегодня не был задернут, сказала:

— Верно ведь, я похожа на нее? Я заставила Оливера этим летом рассказать мне все... И поэтому вам нет нужды беспокоиться. Ведь что со мной будет, неважно. И пусть, даже лучше — вы можете любить меня и не мучиться. Вы ведь будете любить меня, да? — И, не сводя с него глаз, скороговоркой заключила: — Только не будем сейчас говорить об этом. Мне так тепло, хорошо. И я так устала. Пожалуйста, курите!

Но пальцы Леннана так дрожали, что он едва мог закурить папиросу. И, глядя на них, она сказала:

— И мне дайте. Папа не любит, когда я курю.

Да, Джонни Дромор блюдет добродетели — в других. И Леннан пробормотал:

— Как, по-вашему, он отнесся бы к тому, что было сегодня, Нелл?

— Мне все равно, как, — и, поглядев на него сквозь пушистый кошачий мех, продолжала: — Оливер хочет, чтобы я пошла в эту субботу на бал... благотворительный. Пойти мне?

— Конечно; отчего же нет?

— А вы пойдете?

— Я?

— Да, да, пожалуйста, пойдите и вы! Ведь это будет мой первый бал. У меня есть лишний билет.

И против воли, против здравого суждения, вопреки всему Леннан ответил:

— Хорошо.

Она захлопала в ладоши, и котенок скатился к ней на колени.

А когда Леннан поднялся и стал прощаться, она не шевельнулась, только поглядела на него — как он ушел, один лишь Бог знает.

Он остановил кэб не доезжая до дому и бегом, так как окоченел от холода и усталости, добрался до своих дверей, отпер замок собственным ключом и направился прямо в гостиную. Дверь была приотворена, и Сильвия стояла у окна. Он услышал ее вздох; и сердце у него сжалось. Она стояла там, такая тоненькая, одинокая и неподвижная, и свет блестел на ее волосах, так что они казались почти белыми. Потом она обернулась и увидела его. И он заметил, как затрепетало ее горло от усилия не показать и вида, что она волновалась. Он сказал:

— Неужели ты беспокоилась? Понимаешь, Нелл упала с лошади: вздумалось ей прыгать в песчаный карьер. Иногда она ведет себя просто нелепо. Я остался и выпил с нею чаю, хотел удостовериться, что она ушиблась действительно не очень серьезно.

Но, говоря это, он ненавидел и презирал себя: голос его звучал так фальшиво.

Она ответила только: «Да, милый», — но глаза ее, эти голубые, чересчур правдивые глаза, смотрели в сторону, даже когда она его целовала.

Так начался еще один вечер, и еще одна ночь, и еще одно утро горячечного нетерпения, уверток, бессилия и стыда. Новый круг полублаженных мучений, вырваться из которого, казалось, ему было так же не дано, как не дано узнику пробиться сквозь стены своей темницы...

Пусть цвести ему под солнцем всего лишь один день, пусть предстоит ему кануть в сумрачный омут ночи, все равно темный цветок страсти распухнет, дождавшись своего часа...

Чтобы лгать, надо, несомненно, пройти хорошую школу. И не понаторевший в этом искусстве Леннан вскоре уже безумно тяготился необходимостью что-то придумывать, быть постоянно настороже и притворяться перед той, кто всегда видела в нем идеал еще со времен их детства. Однако его не оставляло чувство, что, поскольку он один посвящен во все подробности дела, ему одному только и принадлежит право обвинять или оправдывать себя. Суд велеречивых моралистов — это лишь глупая болтовня напыщенных фарисеев, ведь над ними не властвует упоительная, колдовская сила, да у них и крови в жилах не останется, чтобы испытать ее власть!

На следующий день после верховой прогулки Нелл не пришла, и вестей от нее тоже не было. Неужели она все-таки разбилась! Она так неподвижно лежала тогда в кресле! И Сильвия не спросила, знает ли он, как себя чувствует Нелл, и не предлагала послать и справиться. Что она, не хотела о ней говорить или просто не поверила? Когда о стольком приходилось умалчивать, особенно досадно было, что правду в твоих рассказах встречают недоверием. Сильвия еще ни словом не обнаружила, что чувствует его обман, но в глубине души он знал, что она не обманывалась... О эти чуткие щупальца любящей женской души! Где предел их восприимчивости?..

К вечеру желание повидаться с Нелл — где-то там, у себя дома, она словно звала, тянула его к себе — сделалось почти непреодолимым; но он чувствовал, что Сильвия, какой бы повод для своего ухода он ни придумал, будет знать, куда он идет. Он сидел по одну сторону камина, она — по другую, и оба читали. Странно было только, что ни тот, ни другая не перевернули в своих книгах ни страницы. У него на коленях был «Дон Кихот», открытый на том месте, где стояли слова: «Пусть Альтисидора плачет или поет, все равно я принадлежу Дульсинее, ей одной, живой или мертвый, верный и неизменный, наперекор всем волшебникам на свете».

Так прошел вечер. Когда она ушла спать, он уже готов был выскользнуть потихоньку из дома и, доехав до Дроморов, справиться о Нелл у доверенного слуги; но, представив себе всеведущий лакейский

взгляд, удержался и не поехал. Он взял в руки книгу Сильвии. Это была «Сильна, как смерть» Мопассана — открытая на том месте, где несчастная женщина узнает, что ее возлюбленный предпочел ей ее собственную дочь. Он читал, и по лицу его катились слезы. Сильвия! Сильвия! Разве не верны по-прежнему его любимые слова из любимой книги: «Дульсинея Тобосская — прекраснейшая дама в мире, я же злосчастнейший на земле рыцарь. Нельзя допустить, чтобы подобное совершенство пострадало от моего бессилия. Вонзай же копье свое, рыцарь, дабы, лишившись чести, лишился я и жизни»... Почему не может он вырвать эту страсть из своего сердца, раз и навсегда забыть о ней? Почему не может он остаться до конца верным той, которая всегда была до конца верна ему? Как ужасно это безволие, это аморфное чувство, парализовавшее его и сделавшее из него куклу на ниточках, за которые дергает чья-то жестокая рука! И ему опять, как уже однажды раньше, почудилось, будто в кресле Сильвии сидит Нелл — сидит в своем красном платье и смотрит на него этими удивительными глазами. Колдовское видение — такое ясное! Когда человека столько времени душил петля, мудрено ли помешаться!

Стущались сумерки субботнего вечера, когда он, не выдержав беспросветного ожидания, открыл дверь мастерской, чтобы идти к Нелл. Он уже два дня не виделся с нею и не получал от нее вестей. Она говорила ему о каком-то бале, назначенном на субботу, звала его непременно. Сомнения нет, она больна!

Но он не прошел и шести шагов, как повстречал ее. Она шла к нему. На плечах у нее было серое меховое боа, закрывавшее ей рот и делавшее ее на вид гораздо старше. Как только захлопнулась, впустив их, дверь мастерской, она отбросила мех, придвинула скамеечку к камину и села, протянув к огню ладони.

— Ну, думали вы обо мне? Не довольно ли уже вы думали?

Он ответил:

— Да, я думал. Но ничего не придумал.

— Почему? Никто не будет знать, что вы меня любите. А узнают, мне все равно.

Просто! Как просто! О блистательная, эгоистическая юность!

Он не мог говорить с этим ребенком о Сильвии — о своей семейной жизни, до сей поры столь безупречной, для него почти

священной. Это было невозможно. Потом он услышал, что она говорит:

— Разве это дурно — любить вас? А если и дурно, пусть, мне все равно!

И он увидел, как губы ее задрожали, а глаза вдруг стали жалкие и испуганные, будто она впервые усомнилась в своей правоте. Вот еще новый источник мучений! Видеть перед собой страдающее дитя. А что проку пытаться растолковать ей, стоящей на самом пороге жизни, в каких непроходимых дебрях плутает он! Разве может она понять, через какое болото липкой грязи и спутанных водорослей надо ему пробираться к ней? «Никто не узнает». Как просто! А его сердце? А сердце его жены? И, указывая на свою новую работу — первый мужчина, зачарованный первой нимфой, — он сказал:

— Взгляните, Нелл! Эта нимфа — вы; а мужчина — это я.

Она встала и подошла к скульптуре. И пока она ее разглядывала, он с жадностью упивался ее красотой. Что за странная смесь наивности и колдовства! Какое блаженство — в своих объятиях открыть последние тайны любви этому удивительному существу! Он сказал:

— Вы должны как следует понять, что вы такое для меня: в вас все, чем я уже никогда больше не буду владеть; видите, это запечатлено в лице нимфы. Разумеется, это не ваше лицо. А вот это я по топи и грязи ползу, чтобы достичь вас, — лицо, конечно, не мое.

Она сказала: «Бедное лицо!» — и закрыла свое лицо ладонями. Неужели она заплачет и причинит ему еще большую муку? Но она только прошептала: «Но ведь вы достигли меня!» — и, качнувшись к нему, прижала губы к его губам.

И он не выдержал. После его чересчур бурного поцелуя она отстранилась на мгновение и тут же, словно испугавшись собственного малодушия, поспешила снова к нему прижаться. Но этой инстинктивной боязни было довольно Леннану, он опустил руки и проговорил:

— Вам нужно уйти, дитя.

Не говоря ни слова, она подобрала свой мех, закутала плечи и остановилась, ожидая, чтобы он заговорил. Но он молчал, и тогда она протянула ему что-то белое. Это был пригласительный билет на бал.

— Вы сказали, что пойдете!

Он кивнул. Ее глаза и губы улыбались ему, пока она отпирала дверь, и с этой медленной, счастливой улыбкой она шагнула за порог...

Да, да, он пойдет; пойдет вслед за ней, куда и когда бы она ни позвала его!

Весь в огне, не думая ни о чем, кроме своей погони за счастьем, провел Леннан эти часы перед балом. Сильвии он сказал, что будет сегодня обедать у себя в клубе — небольшом помещении в несколько комнат, принадлежащем кружку художников в Челси. Он прибег к этой предосторожности, потому что чувствовал, что не сможет просидеть с ней лицом к лицу весь обед, а потом уехать на бал, туда, где его ждет Нелл. Чтобы объяснить свой фрак, он сказал, что в клубе сегодня принимают гостя, — еще одна ложь, но что с того? Он лгал постоянно, не словами, так поступками, и должен был лгать, чтобы она не страдала!

Он остановился у цветочницы-француженки.

— *Que desirez vous, monsieur? Des oeillets rouges? — J'en ai de bien beaux, ce soir.* [23]

Des oeillets rouges? Да, сегодня они подойдут. Вот по этому адресу. Зелени не надо, карточки тоже!

Какое странное чувство — жребий брошен, выпала любовь, и ты устремляешься за нею, оставляя позади собственное «я»!

На Бромтон-род у входа в маленький ресторанчик худой музыкант играл на скрипке. А! Тот самый ресторан. Он пообедает здесь, а не в клубе, а скрипачу достанется вся мелочь, какая найдется у него в карманах, — пусть играет эти мелодии любви! Он вошел. В последний раз он был здесь накануне того вечера на реке — двадцать лет назад. И с тех пор ни разу. А внутри ничего не изменилось. Та же тусклая позолота, те же запахи из кухни, и те же макароны в томатном соусе, и бутылки кьянти, и голые светло-голубые стены с узором из розовых веночков. А вот официант — другой — тощий, многотерпеливый, глаза черные. Ему тоже причитаются сегодня щедрые чаевые! И вон той бедной даме в немислимой шляпке, склонившейся над скромной трапезой, — ей причитается от него хотя бы добрый взгляд. Всем отчаявшимся принадлежит его сочувствие в эту отчаянную ночь! И внезапно он вспомнил об Оливере. Еще один отчаявшийся! Что скажет он на балу Оливеру — он, сорокасемилетний, женатый мужчина,

пришедший на бал почему-то без жены? Какую-нибудь глупость, вроде: «Изучаю божественные формы человеческого тела в движении» или «Хочу подсмотреть Нелл в другой обстановке, чтобы кончить статуэтку». Что-нибудь придумается; какая разница! Вино уже налито, теперь надо пить!

Было еще рано, когда он вышел на улицу, ночь была сухая, безветренная, почти теплая. Когда он в последний раз танцевал? С Олив Крэмьер, до того, как понял, что любит ее. Ну что ж, он останется верным воспоминанию — танцевать он сегодня не будет. Просто придет, посмотрит, посидит немного с нею — только почувствует ее руку в своей, увидит, как ее глаза ищут его, и уйдет! А потом будущее! Ибо вино уже налито. С платана, трепеща, упал лист и зацепился за его рукав. Осень скоро пройдет, а после осени наступит Зима! Нелл забудет и думать о нем еще задолго до того, как придет его Зима. Природа позаботится, чтобы Юность кликнула ее и увлекла за собой. О неизменные пути Природы! Но обмануть ее хоть ненадолго! Обмануть Природу — есть ли счастье больше!

Вот этот дом с красным полосатым навесом над входом. Отъезжают кареты, толпятся зеваки. С гулко стучащим сердцем он вошел. Здесь ли уже она? Как приедет она на этот свой первый бал? С одним Оливером? Или ей подыскали в спутницы какую-нибудь даму? Если бы его привела сюда необходимость оказать покровительство девочке — такой прелестной и рожденной «вне брака»! Сознание это было бы бальзамом для его раненого самоуважения. Но — увы! — он прекрасно понимал, что находится здесь только потому, что не прийти оказалось ему не под силу!

В зале наверху уже танцевали, но ее еще не было. И он стал, прислонившись к стене, так, чтобы увидеть, как она войдет. Он остро чувствовал свое одиночество и всю неуместность своего пребывания здесь; ему казалось, что все знают, для чего он приехал. На него озирались, и он слышал, как одна девушка спросила: «Кто это такой, там, у стены, с шевелюрой и темными усами?» Ее кавалер пробормотал что-то в ответ, потом опять послышался ее голос: «Да у него такой вид, будто он наяву грезит пустынями и львами». За кого они его принимают? Обычная для таких мест публика. Здесь он не встретит никого из знакомых. А вдруг Нелл привезет самого Джонни Дромора! Ведь он должен был в субботу вернуться! Что же он тогда

скажет Дромору? Как встретит взгляд его недоверчивых, пронизательных глаз, которые таращатся твердой верой, что мужчине нужно от женщины только одно? И — ведает Бог! — это будет правдой. Какое-то мгновение он готов уже был взять пальто и шляпу и незаметно удалиться. Но это означало бы, что он не увидит Нелл до понедельника; и он решил не отступать. Но после сегодняшнего вечера больше так рисковать нельзя — их встречи должны быть тайными, сокрытыми ото всех. И тут внизу лестницы он увидел ее — нежно-розовое платье, одна из его гвоздик приколоты к русым волосам, остальные букетиком привязаны к ручке крохотного веера. Как уверенно она держалась, будто всю жизнь провела на балах вот в таком наряде с открытыми руками и шеей! Щеки ее были залиты густым нежным румянцем, быстрые глаза устремлялись то туда, то сюда. Она стала подниматься по лестнице и вдруг заметила его. Было ли на свете зрелище прекраснее, чем она в это мгновение? Позади нее он разглядел Оливера и еще какую-то высокую рыжую девушку с кавалером. Он нарочно вышел на середину площадки, чтобы идущим сзади не видно было ее лица, когда она здоровалась с ним. Она приложила к губам маленький веер с букетиком и, протягивая ему руку, шепнула быстро и еле слышно:

— Ваш четвертый номер, полька; мы посидим где-нибудь, да?

И, грациозно качнувшись, так что ее волосы с красной гвоздикой едва не задела его по лицу, отошла, уступив место Оливеру.

Леннан приготовился встретить его прежний дерзкий взгляд, но увидел перед собой взволнованное, дружелюбное молодое лицо.

— Мистер Леннан, как замечательно, что вы приехали! А миссис Леннан...

— Она не смогла; она не вполне... — забормотал Леннан, чувствуя, что готов провалиться сквозь блестящий паркет. Юность — с ее подкупающей доверчивостью, с ее трогательными волнениями. Так-то выполняет он свой долг перед Юностью!

Когда они прошли в зал, он снова занял свое место у стены. Оркестр играл третий танец; и, стало быть, ждать ему недолго. Оттуда, где он стоял, танцующих не было видно: для чего ему смотреть, как она кружится в чьих-то объятиях?

Играли вальс — не настоящий вальс, а так, какую-то французскую или испанскую песенку в ритме вальса: прихотливую, грустную,

кружащуюся в поисках счастья. О, эта погоня за счастьем! Но что в нашей жизни при всех возможностях и завоеваниях дает ощущение счастья, кроме нескольких кратких мгновений страсти! Ничто иное не содержит в себе той остроты чувства, какая достойна именоваться чистой радостью! Так, во всяком случае, казалось ему.

Вальс кончился. Теперь он видел ее; она сидела на диванчике у стены с тем, другим молодым человеком, то и дело обращая глаза туда, где стоял он, словно боялась, как бы он не ушел. Как разгорался и без того жаркий огонь в его груди от этой тонкой лести — от необъяснимого обожания в ее глазах, глазах, которые и властно влекли и в то же время смиренно за ним следовали! Пять раз он видел, пока она там сидела, как Оливер или рыженькая девушка подвели к ней знакомиться мужчин; видел восхищенные взоры юношей и внимательные — девушек, рассматривающих ее с холодным интересом или с откровенным, трогательным восхищением. С той минуты, как вошла она, ясно было, что на балу, выражаясь словами ее отца, «она всех оставит за флагом». И она могла пренебречь всем этим и тянуться к нему! Невероятно!

При первых звуках польки он подошел к ней. Куда им укрыться, нашла она, устроившись с ним в нише позади двух пальм в кадках. Но, сидя там, он понял, как никогда раньше, что между ним и этой девушкой не было духовной связи. Она могла поведать ему о своих радостях и печалях, он мог посочувствовать ей, утешить ее; но никакими способами нельзя было заполнить пропасти между их разными натурами и разными возрастами. Но и в этом, видит Бог, было свое счастье — жадная, горячая радость, подобная жажде измученного путника, которая только возрастает с каждым глотком. Сидя там, в аромате ее гвоздик и сладких духов от ее волос, чувствуя ее пальцы в своих, ее глаза на своем лице, он честно старался отрешиться от себя, почувствовать то, что испытывает она на этом своем первом балу, помочь ее радости, веселью. Но не мог, парализованный, опьяненный безумным желанием сжать ее в объятиях, второй раз с такой силой охватившим его за эти несколько часов. Она, точно цветок, распускалась в ярком свете, в движении, среди всеобщих восторгов. Какое право имел он вторгаться в ее жизнь со своими темными, тайными желаниями; он, старая, истертая монета, губитель ее свежей, блистательной молодости и красоты!

Но тут она, подняв к лицу букетик гвоздик, спросила:

— Вы прислали мне их из-за того цветка, который я вам тогда подарила?

— Да.

— А что вы с ним сделали?

— Сжег.

— О! Отчего же?

— Оттого что вы ведьма, а ведьм надо сжигать со всеми их цветами.

— Вы и меня сожжете?

Он положил ладонь на ее обнаженную руку.

— Чувствуете? Огонь уже разведен.

— Жгите! Я не боюсь.

Она взяла его руку и прижалась к ней щекой; а между тем носок ее туфельки уже ударял в такт музыки, заигравшей следующий танец.

— Вам давно пора идти танцевать, дитя.

— О, нет! Только вот ужасная жалость, что вы не танцуете.

— Да. Вы поняли, что все должно оставаться в глубокой тайне, в полном секрете?

Прикрыв ему губы веером, она отозвалась:

— Не смейте думать, ни в коем случае не смейте думать! Когда мне прийти?

— Надо еще многое решить. Не завтра. И никто не должен знать, Нелл, понимаете? Ради вас, ради нее — ни одна живая душа!

Она кивнула и повторила с таинственно-мудрым, покорным видам: «Ни одна живая душа». Потом сказала громко:

— А вот и Оливер! Вы страшно добры, что приехали. Доброй ночи!

И, покидая об руку с Оливером их минутное убежище, она оглянулась на прощанье.

Он медлил: ему хотелось посмотреть, как она танцует. Какими ничтожными казались рядом с ними все остальные пары; и дело было не только в красивой внешности: выделяясь, они не были чуждыми этой толпе, но в них обоих через край била жизнь, смелая, непринужденная. Да, они подходили друг к другу, эти двое Дроморов, — его темная голова к ее русой головке; его ясные карие, смелые глаза к ее серым, колдовским, томным. Да, юный Оливер

сейчас, наверно, счастлив этой близостью! То, что испытывал Леннан, это была не ревность. Не совсем ревность — к молодости нельзя ревновать; что-то глубокое — гордость, чувство пропорции, как знать, что? — не допускало тут ревности. И она тоже казалась счастливой, словно душа ее танцевала, трепеща в такт музыке, среди аромата цветов. Он подождал, пока они, кружась, не пронеслись еще раз мимо него, поймал опять ее брошенный через плечо взгляд; потом нашел свое пальто и шляпу и ушел.

На улице он прошел несколько шагов, потом остановился и стал смотреть на освещенные окна за ветвями деревьев, стволы которых вокруг фонаря отбрасывали на землю веером растопыренные тени. Церковные часы пробили одиннадцать. Еще не один час проведет она там, кружась и кружась в объятиях Юности! Как ни старайся он, ему никогда не вернуть себе того выражения, которое он видел на лице Оливера, — выражения, означавшего гораздо больше, чем мог бы дать ей он. Зачем вторглась она в его жизнь — себе и ему на погибель? Странная мысль пронеслась у него в голове: «Если б она умерла, горевал ли бы я? Не радовался ли бы вернее? Если б она умерла, с ней умерло бы ее колдовство, и я снова мог бы высоко держать голову и смотреть людям в глаза!» Что за сила играет человеком, пронзает ему грудь, захватывает сердце? Та сила, что поглядела на него ее глазами, когда она приложила к губам веер с букетиком его цветов?

Музыка смолкла, и он ушел.

Было, вероятно, около двенадцати, когда он добрался домой. Опять предстоял ему бесконечный, тягостный обман — чем горше мука души, тем невозмутимее лицо. Пусть бы уже свершилось непоправимо это предательское дело и пошло раз навсегда своим тайным путем!

В гостиной было темно, только в камине горел огонь. Хоть бы Сильвия уже ушла спать! Но тут он увидел ее — она сидела без движения у незавешенного окна.

Он подошел и начал с ненавистной формулы:

— Ты тут одна соскучилась, наверно. Мне пришлось задержаться. Совсем неинтересный был вечер.

Она не пошевелилась, не ответила, а продолжала сидеть все такая же неподвижная и белая, и он заставил себя приблизиться к ней вплотную, наклониться над нею, коснуться ее щеки; он даже встал рядом с ней на колени. И тогда она обернулась и посмотрела на него: лицо ее застыло, но в глазах была мольба.

— О Марк! — губы ее скривились в жалостной улыбке. — Что случилось? Что с тобой? Все лучше, чем вот так!

Эта ли ее улыбка его сломила, или голос ее, или глаза — но Леннан не выдержал. Скрытность, осторожность — все было забыто. Склонив голову ей на грудь, он изливал ей душу, и пока он говорил, они сидели, прижавшись друг к другу в полутьме, точно двое испуганных детишек. Только окончив рассказ, понял он, что было бы много лучше, если бы она оттолкнула его, запретила к себе прикасаться, — это было бы гораздо легче снести, чем вот такое ее потерянное лицо и слова: «Я никогда не думала... мы с тобой... О! Марк... мы с тобой...» Вера в их совместную жизнь, в него самого, прозвучавшая в этих словах! Но ведь такая же вера была и у него — и осталась! Она не понимала, он знал, что ей никогда не понять; поэтому-то он и старался с самого начала сохранить все в тайне. Ей казалось, что она утратила все, между тем как в его представлении у нее не было отнято ничего. Эта его страсть, эта погоня за Юностью и Жизнью, это безумие — как ни назови — к ней ни в коей мере не относятся, не затрагивают его любви к ней, его потребности в ней. Если б только она могла поверить! Он снова и снова повторял ей это; но снова и снова видел, что она не понимает его. Она понимала только одно: что его любовь от нее перешла к другой, — а ведь это было не так! Неожиданно она вырвалась из его рук, оттолкнула его с криком: «Эта девочка... злобная, отвратительная, лживая!» Никогда в жизни он не видел ее такой: на белых щеках два рдеющих пятна, мягкие линии рта и подбородка искажены, голубые глаза пылают, грудь тяжело вздымается, словно в легкие вовсе не попадает воздух. Потом так же внезапно огонь в ней погас; она опустилась на диван, спрятав лицо в ладони, и сидела, покачиваясь из стороны в сторону. Она не плакала, только время от времени из груди у нее вырывался слабый стон. И каждый ее стон звучал для Леннана как крик убиваемой им жертвы. Наконец он не вынес, подошел, сел рядом с ней на диван, позвал:

— Сильвия! Сильвия! Не надо! Ну, не надо!

Она перестала стонать, перестала раскачиваться; позволяла гладить себя по платью, по волосам. Но лица не открывала. И один раз, так тихо, что он едва расслышал, проговорила:

— Нет, я не могу... и не хочу становиться между тобой и ею.

И с гнетущим сознанием, что теперь никакими словами не залечить, не унять боль в этом нежном раненом сердце, он продолжал только гладить и целовать ее руки.

Это жестоко, ужасно — то, что он сделал! Видит Бог, он не искал этого — оно само на него обрушилось. Это ведь и она, при всем своем горе, не может не признать! Вопреки этой боли и стыду, он понимал то, чего не могли бы понять ни она, ни кто другой: зарождению этой страсти, уходящей корнями в те времена, когда он и незнаком был еще с этой девушкой, воспрепятствовать он не мог, ни один мужчина не может подавить в себе такое чувство. Это томление, это безумство составляет часть его существа, вот как руки или глаза; и оно так же всемогуще и естественно, как его жажда творить или его потребность в душевном покое, который дает ему она, Сильвия, и только она одна. В этом-то и трагедия — все коренится в самой натуре мужчины. И до появления этой девушки он был в помыслах своих столь же грешен перед женой, как и теперь. Если б только она могла заглянуть ему в душу и увидеть его таким, какой он на самом деле, каким создала его природа, не испросив у него ни согласия, ни совета, — тогда бы она поняла и, наверное, перестала бы страдать; но она не может понять, а он не может ее убедить. И отчаянно, упорно, с тягостным сознанием бесполезности всяких слов он пробовал снова и снова. Неужели она не понимает? Это же вне его власти — его манит, влечет Красота и Жизнь, зовут утраченная молодость!..

При этих словах она поглядела на него:

— А ты думаешь, я не хочу вернуть свою молодость?

Что значит для женщины — чувствовать, как ее красота, блеск ее глаз и волос, изящество и гибкость движений ускользают от нее и от того, кого она любит? Есть ли что-нибудь горше? И есть ли что-нибудь священнее, чем долг не увеличивать эту горечь, не толкать женщину к старости, помогать ей сберечь непомеркшей звезду веры в свою привлекательность!

Мужчина и женщина — они оба хотели бы вернуть себе молодость, она — чтобы отдать ему; он — потому что с молодостью может прийти что-то... новое! Только всего и разницы.

Он встал.

— Ну, успокойся, дорогая, попробуй лечь и уснуть.

Он ни разу не сказал, что отступится. Язык не поворачивался произнести эти слова, хотя он понимал, что Сильвия ждет их от него, жаждет их услышать. Все, что он смог сказать, было: «Пока я тебе

нужен, я всегда буду с тобою», и еще: «Больше я не стану от тебя ничего скрывать».

Наверху, в спальне, она много долгих часов лежала в его объятиях, не отстраняясь, но словно неживая, и веки ее, всякий раз как он касался их губами, были мокры.

Что за лабиринт — сердце мужчины, в нем так легко заблудиться! Какие сложные, замысловатые повороты на каждом шагу; какие неуловимые подмены чувств! Какая жажда душевного покоя...

И в горячечном оцепенении, которое было почти сном, Леннан уже сам не знал, музыка ли играет на балу или это тихонько стонет Сильвия; и ее ли это или Нелл он обнимает...

Но надо было жить, и соблюдать приличия, и выполнять намеченные планы. А под спокойной поверхностью обычного воскресного дня продолжался все тот же кошмар. Они были точно путники, идущие по самому краю обрыва, так что каждый шаг грозит падением; или пловцы, напрягающие последние силы, чтобы выбраться из темного омуты.

Днем они пошли вместе на концерт. Это было просто какое-то занятие, которое хоть на час или два спасало их от необходимости разговаривать на единственную оставшуюся им тему. Корабль затонул, и они просто хватались за все, что ни подвернется, чтобы лишнее мгновение продержаться на воде.

К ужину были приглашены гости — писатель и двое художников, все трое с женами. Мучительный вечер, в особенности, когда разговор коснулся обязательной темы — свободы, духовной, физической, умственной, как неременной потребности художника. Снова высказаны были все избитые мысли и возражения; и приходилось с каменными лицами принимать участие в разговоре. Но, слушая их дифирамбы свободе, Леннан представлял себе, как изменились бы их тон и обращение, узнай они правду о нем. Это «не принято» — совращать молодых девушек; как будто свобода состоит в том, чтобы делать только то, что «принято»! Сейчас они разглагольствуют о праве свободного художника испытать все, но сразу же умолкнут смущенно, если дело коснется канонов «хорошего тона». И выходит, что этот их хваленый «свободный» дух ничуть не свободнее буржуазного со всеми его ограничениями; или же церковного с его окриком «грех!» Нет, нет! В борьбе — если возможно бороться с этой затягивающей силой —

догмы «хорошего тона», догмы религии и морали не помогают; и ничего не поможет, разве только другое чувство, еще более сильное, чем эта страсть. Лицо Сильвии, сияющее улыбнуться! Вот за что они должны были бы осудить его. И никакие их теории и рассуждения о свободе не спасут от муки, от гибели душу того, кто заставил страдать любящее, верное сердце.

Но вот наконец, с непременными — «Мы вам так благодарны!», «Так чудесно провели вечер!» — гости ушли.

И они двое еще на одну ночь остались с глазу на глаз.

Он знал, что все должно начаться сначала — это было неизбежно, после того, как острое разговора в гостиной, пронзив им обоим сердце, целый вечер поворачивалось в ране.

— Я не хочу, не должна мешать тебе и губить твоё искусство. Не думай обо мне, Марк! Я выдержу.

А потом рыдания, еще более отчаянные, чем накануне. Каким даром, каким талантом обладает Природа для того, чтобы мучить свои создания! Скажи ему кто-нибудь всего лишь неделю назад, что он может причинить такие страдания Сильвии — Сильвии, которую он голубоглазой девочкой с голубым бантом в льняных волосах защищал на прогулках от несуществующих быков; Сильвии, в чьих волосах запуталась его звезда; Сильвии, которая вот уже пятнадцать лет днем и ночью была ему верной женой, которую он любит и сейчас, — он бы, не задумываясь, ответил, что это ложь. Это прозвучало бы нелепо, чудовищно, глупо. Или каждые муж и жена должны пройти через такое, и это лишь обычный переход через обычнейшую из пустынь? Или это все же крушение? Смерть — ужасная, насильственная смерть в песчаном урагане?

Еще одна ночь страданий, а ответа на вопрос все нет.

Он обещал, что не увидится с Нелл, не сказав об этом предварительно ей. И потому, когда наступило утро, он просто написал: «Не приходите сегодня!» — показал записку Сильвии и отослал со слугой к Дроморам.

Трудно описать ту горечь, с какой он вошел наутро в мастерскую. Что будет с его работой во всем этом хаосе? Достанет ли у него снова хоть когда-нибудь душевного спокойствия, чтобы вернуться к творчеству? Вчерашние гости рассуждали о «вдохновении, черпаемом в страсти, и переживаниях». Убеждая Сильвию, он и сам прибег к этим

словам. И она — бедняжка! — послушно повторила их, пытаясь приучить себя к ним, пытаясь им поверить. Но правда ли это? И снова ответа нет, во всяком случае, он ответа не знает. Испытать такое половодье страсти, когда чувства захлестывают и вместо застоя достигают душераздирающей остроты, — быть может, кто знает?.. когда-нибудь он будет благодарен за это. Когда-нибудь за этой пустыней, быть может, откроется плодородная земля, и он сумеет работать еще лучше, чем прежде. Но сейчас — бесполезно; так не может творить тот, кому завтра идти на казнь. Он видел, что все равно погиб, — откажется ли он от Нелл и от удовлетворения неумемного, бунтующего инстинкта, которому давно пора было бы угомониться, а он все не знает покоя, или же выберет Нелл, зная, что тем самым обрекает на муки женщину, которую любит! Вот все, что он сейчас видел. А что он увидит по прошествии какого-то времени, — это было ведомо одному лишь Богу. Но: «Свобода духа!» Вот уж действительно слова, исполненные горькой иронии! И, бессильный в окружении своих незавершенных работ, точно связанный по рукам и ногам, он вдруг почувствовал такое яростное негодование, какого не знал никогда прежде. Эти женщины! Если бы ему только освободиться от них обеих, от страсти и сострадания, которые они возбуждают, тогда его мозг и его руки снова обретут жизнь и будут способны творить! Какое право имеют они подавлять, губить его!

Но — увы! — и в ярости он понимал, что бегство от них его не спасет. Так ли, иначе ли, но придется что-то побороть. Будь это хоть открытое, честное сражение, простая борьба между страстью и жалостью! Но он любил обеих и обеих жалел. И во всем этом деле не было простоты и ясности — слишком глубоко в самой человеческой природе оно коренилось. И от гнетущего ощущения загнанности, когда мечешься без толку от преграды к преграде, его рассудок, казалось, начинал мутиться.

Временами, правда, наступали минуты просветления, когда вся эта хитроумная путаница собственных мук представлялась ему на редкость забавной и удивительной. Но минуты эти не приносили настоящего облегчения, они только говорили о том, что у него, как это бывает с теми, кто долго страдает от зубной боли, на мгновение притуплялась способность чувствовать. Вот уже воистину: ад внутри нас!

Весь день его не оставляло предчувствие, почти уверенность, что Нелл, встревоженная его запиской из трех слов, все равно придет. А мог ли он написать ей что-нибудь другое? Нет, любые другие слова встревожили бы ее еще больше, а его еще больше запутали. У него было такое чувство, будто она может угадывать его переживания и будто ее глаза видят его повсюду, как кошачьи глаза в темноте. Это чувство возникло у него еще в тот последний вечер октября, когда она вернулась в Лондон — отныне уже взрослая. Как давно это было? Только шесть дней тому назад — возможно ли? Да-да, она знала точно, когда ее очарование ослабевало, когда надо было как бы подбавить ток. И около шести часов — уже в сумерках — он без малейшего удивления, только с каким-то пустым содроганием в груди услышал ее стук. Под самой дверью, как только можно ближе к ней, он замер, затаив дыхание. Он дал Сильвии слово — она не просила, он сам дал ей слово. Сквозь тонкую филенку старой двери он слышал слабое шарканье подошв по панели, когда она переступала с ноги на ногу, словно моля о милости неумолимое молчание. Ему казалось, он даже видит, как она склонила голову, прислушивается. Трижды постучала она в дверь, и трижды мучительно сжалось сердце Леннана. Это было жестоко! Она, обладавшая умением видеть то, что не видно, уж, конечно, знала, что он стоит за дверью; самое его молчание должно было ей все сказать — ибо его молчание имело голос, жалобный, слабый голос. Потом совершенно отчетливо он услышал ее вздох и удаляющиеся шаги; и, закрыв ладонями лицо, он, точно безумный, забежал из угла в угол по мастерской.

Ни звука больше! Она ушла! Нет, перенести это было невозможно. И, схватив шляпу, он выбежал на улицу. В какую сторону? Наугад он бросился к площади. И увидел ее. Вдоль ограды сквера она задумчиво, рассеянно брела к себе домой.

XIV

Однако теперь, когда до нее оставалось лишь несколько шагов, он заколебался: он ведь дал слово — что же, нарушить его? Но тут она обернулась и увидела его, отступить было поздно. На резком восточном ветру ее лицо выглядело маленьким, осунувшимся, озябшим, но глаза только еще шире раскрылись, еще полнее были колдовской силой и словно молили: не сердись, не прогоняй меня!

— Я не могла не прийти, мне стало страшно. Для чего вы послали мне эту записочку?

Он постарался придать своему голосу спокойное, обыденное звучание.

— Вы должны быть храброй, Нелл. Мне пришлось сказать ей.

Она ухватила его за рукав; потом вскинула голову и отрывисто проговорила своим ясным голосом:

— Вот как? Значит, она меня ненавидит!

— Она очень несчастна.

Минуту, долгую, как час, они молча шли по площади; не вокруг сквера, как тогда с Оливером, а дальше, прочь от дома. Потом она глухо сказала:

— Мне так немного нужно, только самую чуточку.

Он отозвался сокрушенно:

— В любви не бывает чуточки и остановок на полдороге.

И вдруг ее рука очутилась в его руке, ее пальцы нервно сплелись, перепутались с его пальцами, и тихий, сдавленный голос произнес:

— Но ведь вы позволите мне видеть вас, иногда? Вы не можете не позволить!

Всего труднее было противостоять этому беспомощному, испуганному, цепляющемуся за него ребенку. И сам не представляя себе ясно смысл своих слов, он пробормотал:

— Да-да; все будет хорошо. Не бойтесь ничего, вы должны быть храброй, Нелл. Все устроится.

Но она ответила:

— Я вовсе не храбрая. Я тогда что-нибудь сделаю.

Лицо у нее при этих словах было такое же, как в тот день, над песчаным карьером. Любящее, отчаянное, не ведающее преград, не знающее удержу, — она что угодно способна сделать! Почему он пальцем шевельнуть не может, чтобы не навлечь беду на нее или на ту, другую? И раздираемый между ними двумя, обреченными из-за него страдать, сам он как бы утрачивал чувство своего отдельного существования. Вот к чему пришел он в погоне за счастьем!

Неожиданно она сказала:

— В субботу на балу Оливер опять сделал мне предложение. Он сказал, что вы советовали ему быть терпеливым. Это правда?

— Да.

— Зачем?

— Мне было жаль его.

Она выпустила его руку.

— Может быть, вы хотите, чтобы я вышла за него замуж?

Он отчетливо представил себе, как по блестящему паркету кружится и кружится молодая пара.

— Так было бы лучше, Нелл.

Она издала короткий возглас — полный не то гнева, не то отчаяния.

— Значит, я вам и правда не нужна?

Вот он, путь к отступлению! Но, чувствуя прикосновение ее плеча, видя ее лицо, такое бледное и несчастное, и эти с ума сводящие глаза, он не смог солгать.

— Нет, нужны, — видит Бог, вы нужны мне!

Легкий удовлетворенный вздох сорвался с ее губ, словно она говорила себе: «Раз я ему нужна, он от меня не отступится». Трогательная дань вере в любовь и в свою молодость.

Незаметно для себя они вышли на Пэл-Мэл. И перепугавшись, оттого что так углубился в дроморовские пределы, Леннан поспешил свернуть к Сент-Джеймс-парку, чтобы в темноте пройти через него к Пикадилли. Хорониться от глаз света, идя об руку с дочерью своего школьного товарища, по отношению к которому он всего менее мог так поступить! Что может быть подлее! Но то, что называют честью, — куда исчезает оно, когда на него глядят ее глаза и ее плечо задевает его на ходу?

После того как он произнес эти слова: «Нет, вы нужны мне», — она молчала; наверно, боялась другими словами рассеять их утешительное действие. Но у ворот напротив Хайд-парка она снова вложила ему в ладонь свои пальцы и все тем же своим ясным голосом произнесла:

— Я не хочу никому причинять боли, но вы ведь позволите мне приходить иногда? Позвольте видеться с вами? Вы ведь не оставите меня одну, чтобы я сидела и думала, что больше уже никогда в жизни вас не увижу?

И опять, сам ясно не понимая смысла своих слов, Леннан пробормотал в ответ:

— Нет, нет! Все будет хорошо, дорогая, — все устроится, наладится. Обязательно наладится.

Она опять сплела свои пальцы с его — точно малое дитя. У нее было какое-то удивительное чутье на самые верные слова и движения, чтобы окончательно его обезоружить. Она говорила:

— Я ведь не нарочно, я не старалась вас полюбить. Если любишь, что в этом дурного? Ей же вреда не будет? Мне нужно только самую чуточку вашей любви.

Чуточку! Опять чуточку! Но он теперь уже целиком был поглощен заботами о ней. Ужасно было думать, как она вернется домой и будет сидеть весь вечер одна, перепуганная, несчастная. И, крепко сжимая ей пальцы, он продолжал твердить слова, предназначенные для ее утешения.

Потом он заметил, что они уже на Пикадилли. Далеко ли он осмелится пройти с нею, прежде чем расстаться? Как раз в том месте, где он столкнулся с Дромором в тот роковой вечер девять месяцев назад, навстречу им шел чуть враскачку какой-то мужчина в блестящем высоком цилиндре слегка набекрень. Но — благодарение Господу! — это был не Дромор, а просто кто-то немного на него похожий, на ходу бросивший Нелл таинственно-многозначительный взгляд. И тогда Леннан сказал:

— Теперь ступайте домой, дитя; нас не должны видеть вместе.

Мгновение ему казалось, что она не выдержит, будет настаивать, не захочет уходить. Но она только вскинула голову и застыла на минуту, глядя ему в лицо. Потом вдруг сдернула перчатку, и к его ладони прильнула ее горячая рука. Губы ее слабо улыбались, в глазах

стояли слезы; наконец она выдернула руку, сошла с тротуара и затерялась среди экипажей. Потом она мелькнула, заворачивая за угол, и скрылась в переулке. И, чувствуя, как все еще жжет ладонь прикосновение горячей маленькой руки, он чуть не бегом бросился в Хайд-парк.

Не разбирая дороги и направления, углубился он в черные недра парка, пустынного и овеваемого холодным, бездомным ветром, который без звуков и запахов неся своей неумолимой дорогой под исчерна-серыми небесами.

Черная твердь над головой и резкий осенний холод как нельзя более отвечали настроению того, чьи чувства не нуждались в новой пище; того, чьим единственным желанием было избавиться, если только это возможно, от мучительного ощущения — от гнетущего, загнанного ощущения узника, который мечется из конца в конец своей темницы, видя, что нет надежды вырваться на волю. Без мысли, без цели передвигал он ноги; он не бежал только потому, что тогда бы, он знал, скорее пришлось остановиться. Увы! Открывалось ли для добропорядочного гражданина зрелище забавнее, чем этот женатый, средних лет мужчина, час за часом вышагивающий по сухим, темным, пустынным лужайкам, разрываемый между страстью и состраданием, так что он даже не мог бы сказать, обедал он сегодня или нет! Но ни одного добропорядочного гражданина не встретишь холодной осенней ночью на пронзительном восточном ветру. Деревья были единственными свидетелями его мрачного блуждания — деревья, уступавшие каждому порыву холодного ветра россыпь своих пожухлых листьев, которые летели, обгоняя его, чуть проступающие на фоне ночного мрака. Тут и там нога его погружалась с шелестом в кучи опавшей листвы, ожидавшие своей очереди сгореть в медленных кострах, аромат которых еще держался в воздухе. Горестным был этот путь — в самом сердце Лондона, взад-вперед, круг за кругом, час за часом в темноте осенней ночи. Ни звезды в небе, ни прохожего в парке, чтобы перемолвиться словом или хоть увидеть на расстоянии, ни птиц, ни четвероногих тварей — только свет фонарей вдалеке и хриплый шум уличного движения! Одинокий путь, как путь души человеческой от рождения до смерти, на котором нет ей путеводных знаков, кроме слабых отсветов, посылаемых во тьму ее же слабым огоньком, зажженным неведомо где...

Уставший так, что едва хватало сил брести, но зато освободившийся наконец — впервые за много дней — от гнетущего чувства загнанности, Леннан вышел из парка через те ворота, в какие вошел, и побрел домой, чувствуя, что этой ночью, так или иначе, все разрешится...

Вот что вспоминал он, сидя в спальне у камина и следя за игрой огня, между тем как Сильвия, обессиленная, спала в своей постели, а ветка платана на осеннем ветру тихонько постукивала в стекло; вот о чем думал он, зная откуда-то, что к исходу этой ночи неизбежно придет к решению, которым свяжет себя раз и навсегда. Ибо и душевная борьба исчерпывает себя; и угнетающая власть нерешительности имеет предел, положенный той истиной, что всякое решение — благо в сравнении с самой нерешительностью. Раз или два за эти последние несколько дней даже смерть начинала казаться ему сносным выходом, но сейчас, когда в голове у него прояснилось и предстояло сделать наконец выбор, мысль о смерти растаяла, как тень, ведь тенью она и была. Это было бы слишком уж просто, нарочито — и бесцельно. Любой другой выход был бы осмыслен; смерть же — нет. Оставить Сильвию и уйти со своей молодой любовью — это было бы осмысленно, но такое решение каждый раз, формируясь в его сознании, в конце концов тускнело и меркло; вот и сейчас оно утратило всякую привлекательность. Нанести такое ужасное публичное оскорбление своей нежной, любимой жене — попросту убить ее на глазах у всех — и в муках раскаяния состариться, пока Нелл еще совсем молода? Нет, на это он не мог пойти. Если бы Сильвия не любила его, тогда — да; или, хоть если бы он ее не любил; или же если, пусть и любя его, она стала бы отстаивать свои права, — в любом из этих случаев он, вероятно, смог бы это сделать. Но оставить ту, которую он любит, ту, которая сказала ему с таким великодушием: «Я не буду мешать тебе — уходи к ней», — было бы изуверской жестокостью. Каждое воспоминание — со времен их полудетской влюбленности и до последних ночей, когда ее руки с жаром отчаяния обвивали его шею, — воспоминания всеми своими бессчетными цепкими побегами, всей силой своих неисчислимых нитей слишком прочно привязывали его к ней. Что же тогда? Значит, все-таки отступить от Нелл? И, сидя перед жарким огнем, он зябко поежился. Какое убийственное, расточительное кощунство — отказываться от любви; отвернуться от драгоценнейшего из даров;

выпустить из рук, чтобы разбился вдребезги этот божественный сосуд! Не так-то много любви в здешнем мире, не так-то много тепла и красоты — для тех, во всяком случае, чье время на исходе, чья кровь уже скоро остынет.

Неужели не может Сильвия позволить ему сохранить и ее любовь и любовь девушки? Неужели не может она вынести это? Говорит, что может; но ее лицо, ее глаза и голос выдают обман; при каждом ее слове сердце его сжимается от жалости. Так вот, стало быть, каков для него реальный выход. Разве способен он принять от нее такую жертву, вынудить ее на муки и видеть, как она сгибается и вянет под их гнетом? Разве способен он купить свое счастье такой ценой? Счастьем ли будет ему это счастье? Он встал и на цыпочках подошел к кровати. Какая хрупкая и беззащитная лежала она! На ее нежном белом лице под смеженными веками безжалостно обозначались темные круги, а в льняных волосах, прежде ни разу им не замеченные, виднелись серебряные нити. Она дышала неровно, и ее приоткрытые, почти бескровные губы вздрагивали; временами слабая судорога пробегала по лицу, словно подымалась из глубины сердца. Вся такая нежная и хрупкая! Не много в ней жизни, не много сил; а юность и красота уходят, ускользают! Сознать, что он, предназначенный судьбой защищать ее от старости, день ото дня будет наносить новые меты на ее лицо, налагать новую тяжесть ей на сердце! И это он, с кем вместе она прожила жизнь до сегодняшнего дня, когда уже старость не за горами!

Затаив дыхание, он наклонился над нею, чтобы лучше видеть ее лицо, а смутный шорох платановых листьев по стеклу, то и дело пригибаемых порывами осеннего ветра, казалось, заполнил собою всю немую вселенную. Но вот губы ее зашевелились в несвязном, быстром, взволнованном бормотании, — так говорят во сне исстрадавшиеся люди. И он подумал: «Я, верующий в храбрость и доброту; я, ненавидящий жестокость, — если я совершу это жестокое дело, во имя чего буду я жить? Как смогу работать? Как прощу себе? Если я сделаю это, я погиб — я превращусь в отступника моей же собственной религии — в предателя перед лицом всего, во что верю».

И, опустившись на колени у ее лица, такого печального и одинокого, даже во сне, у самого ее сердца, такого истерзанного, он вдруг понял, что он не сделает этого, — понял с внезапной

отчетливостью и со странным чувством успокоения. Конец! Долгая борьба пришла к концу! Юность с юностью, лето с летом, листопад с листопадом! А позади него потрескивал огонь в камине и листья платана стучались в окно.

Он встал и на цыпочках, осторожно вышел из спальни. Спустился в гостиную и через стеклянную дверь вышел в сад, где когда-то сидел на кадке с гортензией, слушая далекую шарманку. Здесь было очень темно, холодно и жутко, и он поспешил через сад в свою мастерскую. Там тоже было холодно, и темно, и жутко, привидениями белели гипсовые фигуры, в непроветренном воздухе стоял запах папиросного дыма, и в камине дотлевали последние угольки огня, так ярко пылавшего, когда он выбежал за Нелл — целых семь часов тому назад.

Он направился прямо к бюро, зажег лампу и, вытащив несколько листов бумаги, набросал указания относительно того, как поступить с его различными работами; статуэтку Нелл он велел отправить мистеру Дромору с наилучшими пожеланиями. Написал письмо в банк, прося перевести на его имя деньги в Рим, и еще — поверенному — с поручением сдать дом в аренду. Писал он быстро. Если Сильвия проснется и решит, что он еще не возвращался, какие только мысли не придут ей в голову! Он взял последний листок. Не все ли равно, какую бы заведомую ложь ни написать, — лишь бы только это помогло Нелл вынести удар.

«Дорогая Нелл!

Я пишу в спешке рано утром, чтобы сообщить, что нас срочно вызвали в Италию к моей единственной сестре, которая очень больна. Мы уезжаем с первым пароходом и, возможно, пробудем за границей довольно долго. Я напишу еще. Не дуйтесь, и да благословит вас Бог.

М. Л.»

Он плохо видел, что выходило из-под его пера. Бедное, любящее, бесстрашное дитя! Ну что ж, у нее останется ее молодость и сила, и скоро будет еще — Оливер! И он взял новый лист.

«Дорогой Оливер!

Нам с женой пришлось спешно уехать в Италию. Я смотрел на вас обоих в тот вечер на балу. Будьте очень бережны с Нелл, и — дай Бог вам удачи! Но только не говорите ей больше, что я посоветовал вам быть терпеливым; это едва ли поможет вам завоевать ее любовь.

М. Леннан».

Ну вот, стало быть, и все — да, все! Он погасил лампу и ощупью пробрался к камину. Одно дело все-таки еще осталось. Надо сказать последнее «прости!» Ей, Юности, Страсти — этой единственной в мире силе, исцеляющей томительную муку, которую вызывает Весна и Красота — муку по новизне, животрепещущей, неумемной, никогда не оставляющей мужские сердца. Увы, рано или поздно с этим приходится распрощаться каждому. Таков всеобщий жребий...

Он опустился на корточки перед камином. От быстро чернеющей горки углей не исходило тепла, но она еще рдела, подобная темно-красному цветку. И пока светился последний жар, он сидел перед камином, словно это с ним оставалось ему проститься. И слышался ему призрачный стук девушки в дверь. И — призрак среди призрачных гипсовых фигур — она сама стояла рядом с ним. Медленно чернели, дотлевая, угли, покуда не угасла наконец последняя искра.

Тогда в мерцании ночи он выбрался из мастерской и бесшумно, как и выходил, вернулся в спальню.

Сильвия все еще спала, и в ожидании, пока она проснется, он снова уселся у огня среди глубокой ночной тишины, нарушаемой лишь постукиванием осенних листьев по стеклу да прерывающимся еще время от времени сонным дыханием Сильвии. Теперь она дышала ровнее, чем тогда, когда он стоял над нею, словно уже все знала во сне. Только бы ему не пропустить мгновения, когда она проснется, только бы успеть очутиться подле нее, прежде чем она снова все ясно осознает, успеть сказать ей: «Тс-с! Все прошло. Слышишь? Мы с тобой уезжаем сегодня же — сейчас». Оказаться наготове с утешением, прежде чем она успеет вновь погрузиться в свое горе, — эта мысль была словно светлый островок спасения в черном океане ночи, единственный островок спасения для его нищей, нагой души. Реальная забота — что-то настоящее, определенное, нужное. Но еще

целый долгий час до того, как она открыла глаза, он сидел, подавшись вперед, в своем кресле и глядел на нее с тоской и волнением, провидя сквозь ее лицо иной образ, иной слабый, мерцающий свет — где-то там, далеко-далеко, — так путник глядит на звезду...

1913 г.

notes

Примечания

1

Существует легенда, что древнегреческий трагик Эсхил умер оттого, что орел уронил ему на голову черепаху.

2

Перефразированная реплика Гамлета.

3

Спешить не годится! (нем.).

4

Мать! (исп.).

Стормер перефразирует известные строки из поэмы Дж. Милтона «L'allegro».

6

Конечно! Конечно! (нем.).

7

Господин (нем.).

8

Целую руку. Прощайте! (нем.).

Здесь Стормер перефразирует реплику Фальстафа (Шекспир, «Король Генрих IV», ч. I): «Главное в храбрости — это благоразумие».

Трактат об искусстве английского писателя Т. Карлейля.

Книга английского критика и искусствоведа Дж. Рескина.

Великая страсть (франц.).

13

Хорошо одетая дама (франц.).

Северный вокзал (франц.).

Голуби и воробьи в Древней Греции были посвящены Афродите Кипрской.

Под руководством и покровительством (лат.).

«В любви всегда один любит, другой позволяет себя любить»
(франц.).

Фраза из романа Диккенса «Давид Копперфильд».

Красные гвоздики? Сегодня они у меня особенно хороши (франц.).

Красивая азалия? (франц.).

Аллея для верховой езды в Хайд-парке.

Что вам угодно, мосье? Красных гвоздик? Они у меня сегодня особенно хороши (франц.).